

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №10 ГАЗЕТА

Владимир Личутин / Бог найдет тебя сам...

90
лет



Фото Андрея Арешева



Наш журнал, практически недоступный в книготорговых точках Москвы и Питера, а значит, и вовсе не попадающий к распространителям печатной продукции вне «культурных столиц», за последние пару лет сумел-таки выйти на прямой контакт со своим читателем. Имею в виду участие «Роман-газеты» в многочисленных книжных ярмарках и выставках, от самых представительных (ММКВЯ на ВВЦ или «Non Fiction» на Крымском Валу) до выставок «малых»: в районных библиотеках и культурно-развлекательных и образовательных центрах. Огромную поддержку в организации подобных выставок нам оказывают самые лучшие читатели на свете — российские библиотекари. Так, в частности на регулярных экспозициях в московской библиотеке им. Юрия Трифонова на Муссах всегда присутствуют тематические номера нашего журнала. Главная библиотека России, РГБ, бывшая «Ленинка», тоже охотно выставляет наши издания (в частности, в последние годы были представлены произведения, посвященные Первой мировой войне и Великой Октябрьской революции). В знаменитой Исторической библиотеке на выставке, посвященной юбилею С. Т. Аксакова и истории его рода, которая состоялась этой весной, был представлен солидный «аксаковский» цикл наших публикаций... Замечательную выставку иллюстраций к «Роман-газете» заслуженного художника России Александра Дудина устроили наши друзья из библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева. А великолепная художница Ольга Юонайтис провела свою юбилейную персональную вы-

ставку в подмосковных Мытищах с акцентом на многочисленные иллюстрации в «Детской Роман-газете» (кстати, отмечающей в текущем году свое 20-летие!).

С прошлого года нам открыта и еще одна отличная возможность для прямого общения с нашим читателем: книжная ярмарка на Красной площади Москвы, ставшая уже традиционным всероссийским праздником.

Приняли мы участие и в ряде международных выставок. Первой, что неудивительно, нас пригласила Беларусь. К счастью, сотрудничество с литераторами братской республики не прерывалось даже после распада Союза. «Роман-газета» готовит сейчас целую сборку белорусских прозаиков. Второй международной площадкой стал Казахстан. Тепло и сердечность, а также профессиональную заинтересованность в нашем сотрудничестве проявили писатели и публицисты не только Казахстана, но и других среднеазиатских государств, приехавшие в Астану на культурный форум.

Прорывом можно назвать и участие нашего издательства в Латвийской книжной выставке 2017 года в рижском МВЦ «Кипсала». Рига как один из самых интересных книгоиздательских центров мира с дореволюционной поры привлекала библиофилов. Но это еще и город потрясающих читателей. Свидетельствует о том и «молодая», существующая всего несколько лет, частная Библиотека имени Николая Павловича Задорнова на улице Алберта, 4. Количество читателей и зрителей на разного рода встречах и мероприятиях этого центра русской книги в Латвии несопос-

Окончание см. на 3 стр. обложки.



НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунцов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

В оформлении
использованы
картины
Михаила Кугача
«Вологодка», «По воду»

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:

в каталоге агентства
«Роспечать»

70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2017 №10 /1782/ Основана в 1927 г.

Владимир Личутин

Бог найдет тебя Сам...

Роман

Глава пятая

«...Слава богу, оказалось, что приземлился удачно. Даша призналась со слезами на глазах, что ей со мною хорошо. Перенесла ко мне половину кукол, говорит, это наши дети. Были прежде дети Рахманина, а теперь мои; усыновил, значит, семейку. А сама задержалась у отца, говорит, с новосельем погожу. А чего годить-то? — спросил я. Смолчала, только пожала плечами. Знать, напугана иль своё на уме.

Всё чаще поминаю Бога; вдруг выяснилось, что без Бога, наверное, не могу, временами так сиротливо и тяжело, и нет державы на земле, чтобы опереться, так всё жидко, трухля, опасливо вязко, и потому Он сам на уста просится. Конечно, всему своё время, главное, не торопить и не скидываться под власть при каждом удобном случае. Это время снимает со свежего молока страстей сливки... А после и маслице веры собьется в комок, и можно будет напитать заскорбелую, сильно пропитую душу. И совсем зря болтают: де, не поминай имя Господа всеу. Буду поминать, сколько захочу, и никто мне не указ, пока не обыкну, и тогда Бог сам превратится из слова в образ, а потом в земного человека. Не призрачная тень при лунном свете, не солнечный луч на закате, не сполох окаянной летучей мыши, а закорелый плотью, дочерна заветренный ликом мужичок, и можно будет с ним поручаться, предположим, как с Пиросмани, ощутить мозолистую дрезвяную кожу ладони... Спасибо Даше, ей моё благоволение. Это Дарья Ивановна привела в мой бедный дом Спасителя и освятила хижину; знать, не зря я тогда видел Христа, и никуда Он не делся, не сбежал за край света, не заблудился в лесах и не замёрз под кочкой; всеми покинутый, Он лишь поджидал момента...

Я ожил, да-да, я ожил! Прогнал от себя Нехоть и Нероботь, эту неразлучную дьяволу парочку. Устроился сторожем на дачи, всё какая-то копейка. Я видел их воочию: Нехоть — серый с лица, измождённый, чахоточный, а Нероботь — жирный, сало кусками, ножом с брюха строгай. Ножки короткие, с поросычыми копытцами. Бесы не хотели уходить, цеплялись за порог, но я выпроводил их пинком со двора и закрестил след. Они кинулись с визгом за болото и пропали. Пока не появлялись под окнами и в дом не просились. Картинка Алмазова «У часовни» мне за икону, хорошо, что не отнёс. Научился кресты класть на лоб и однажды даже упал на колени, и слезы сами собою полились из глаз. Мне сначала показалось совестно плакать, а вскоре стало тепло на душе и необычно радостно. Даша сделала вид, что не замети-

Окончание. Начало см. «РГ» № 23, 24, за 2016 г. и № 9 за 2017 г.

ла моих слёз, и отвернулась... Пиросмани обещался окрестить меня на дому.

Забрела женщина с другого конца посёлка с кусочком масла на продажу. Рассказывала, что купила коровку в колхозе, распродавали скотину, кормить нечем. Коровка старая, на десятом телёнке, одни рёбра, будто обструганная, шершавая, волос метровой, волочится по земле. Говорит, выходила только на хлебушке. Две буханки на день. Вошла коровка в тело, стала молочко давать, вот сбила маслица комок, решила денежным людям продать. А ты сам, Коля, как та моя коровка, надо тебя выхаживать, ведь бабы у тебя нет. За молодяжку не хватайся, вдруг взбрыкнет, и за старьё не цепляйся, у которой шерсть в ушах; болячками своими опутает — не отвертеться. Я ушел от ответа, спросил про деньги. Ответила: сколько дашь, а там сочтемся. Говорила без намёков, безо всякой игры в глаза. Сама — ходячая нужда... Спросила, не надо ли козичку? Продают, говорит, соседи. Коза кормов много не просит, веничков наломаешь, травяной ветоши с болотца накосишь, на первое время обойдётся; научишься доить, будешь хозяином, невольно войдёшь в ум. Теперь, говорит, тебе надо много силы; сказала и многозначительно качнула Матрёну Ивановну в цветастом сарафане, подвешенную возле печки. Матрёна подмигнула, поплыла на нити, а после давай приплясывать. Воистину, от деревни не спрячешься; все всё знают, словно вести летают по воздуху. Людская правда ходит винтами, а Божья истина ступает прямым путём».

«Рассказывают: московский патриарх посетил Израиль, приклонил голову к Стене плача и попросил у евреев прощения за Иисуса Христа, который наслал на их дом проклятие и обозвал «детьми дьявола». Так предстатель Бога на земле пошел людскими путями и Христову истину превратил в обыкновенную подсудную сплетню. Господь, ещё не вернувшись на землю, уже оделся в мирские одежды и ждет суда над собою за кривду. Если Он подобного не говорил, значит, Он и не воскресал, и не возносился во плоти».

«Знания убивают веру, обгрызая ее, как мыши хлебную корку, со всех сторон. Зубёшки мелкие, но острые и беспощадные».

«Шок есть, а терапии нет. Что-то новое придумали «гамадрилы» в устройстве России, ловко перехваченной у коммунистов двухголовыми «амфисбенами», сметнувшимися под мамону.

Хвалятся и нынешние монархисты-просвещенцы, дескать, при царе-батюшке народу жилось хорошо, дескать, не знали, куда хлеб девать и кормили пшеничкой всю Европу; дескать, и крепостное-то право было не таким уж и плохим, низкий народишко в узде

держало, понуждало ретивого мужика, что испокон веков в бега рвётся, по струнке ходить; дескать, оттого и согласие на Руси было, и Бога чтили, и перед государем шапку ломали не из страха, а по любви.

...При крепостном праве были иль барщина, иль оброк. Барщина три дня в неделю на господина, остальное время на себя. Оброчные, уходя в города, могли заработать, порою неплохо, и выкупиться на волю. Скопец Солодовников нажил капиталу сорок пять миллионов рублей наличными. Знать, этот «белый голубь» умело подбирал крошки, отпавшие от хлебного каравая, набравшись умения у прохвоста процентщика. При царях закрепили народ и двести лет томили в неволе, отбирая не только труд, но и пригнетая душу, вынимая из неё досюльное чувство воли, песни и предания. Но каким-то неисповедимым, непонятным здравому уму образом ещё умудрялись мужички любить отечество, поклоняться ему даже с кандалами на ногах, да ещё и величать государя батюшкой, падая в ноги. Какое же терпение надо было иметь и умильность к отчей земле, чтобы воевать за неё и складывать головы в огромные курганы — страшную поедь для воронья. «Черный ворон, что ты выёшься над моею головой...» Без терпения и Божьего прикрова никак бы не удержать этих пространств, которые поклонили под державное знамя и лихоимцу под длинный процент. Зачем такие страдания народу, когда и надо-то при жизни всего несколько десятин, а по смерти — два квадратных метра. Неисповедима русская душа. Но крепко за последние двести лет нагорело у деревни внутри, истиха так озлобилось сердце против барина и кулака-мироода, что в семнадцатом, отбросив сомнение и смущение, наступив на горло Церкви, смахнув колокола и купола, сметнулись крестьяне под революционный. Решили: что было — то видели, что будет — увидим и перетрём, а хуже прежнего уже не станет...

И вот минуло короткое время, и «неистовые революционеры», грозя тюрьмой и расстрелом, снова загнали крестьянина в колхозы под барщину и оброк до кровавых мозолей. Кто ловок и смел, вывернулись в города. «Прощай, мати-сыра земля, век бы тебя не видать». Казармы социализма показались куда краше нищих изобок, крытых соломой. А на деревне, откуда бежали, снова барщина шесть дней в неделю и оброк с личных соток: 400 литров молока, 12 кг масла, 200 яиц и даже по две шкуры с овцы, рога и копыта, да сорок кг мяса надо отдать в контракцию. Пиросмани рассказывал, искренне дивясь той поре: «Да сельхозналог четыреста рублей, военный налог семьсот, подоходный, страховка да обложение... А коровы не было, где мясо взять? Это в сорок седьмом, мне двенадцать лет, отец на войне погиб, мать на реке на сплаве... Не жизнь, а хуже каторги. И вот пришли описывать за неуплату, так описали шкаф взамен мяса, гармошку и стол... Потом, прав-

да, вернули, когда долг отдали... Молока сами не ели, наливали в блюдце, разводили водою да макали житним каравашком, выращенным на своей сотке».

Так и хочется крикнуть: «Братцы, что это за государство такое немилосердное, которое сдирает с ближнего своего три шкуры?!» Это плоть воет и стонет от обиды, а русская душа полнится каким-то светлым, улыбчивым покоем, вспоминая пережитое. Какую войну сломали, братцы мои! Слезы на глазах, но восторг в душе и гордость за себя, и невольно хлопнешь по груди: «Это я, русский Ваня, закопал клятую, хвастливую немчуру, всё сатанинское воинство спровадил в крошечный ад!» Какого врага подломили и кинули на четыре кости: знай, лютая немчура, поганая фашистская морда, нестяжательного русского мужика! Кажется, никогда не простить того зла, что на похоронных дрогах привезли из-за кордона германцы, думая извести до конца русского человека, но вышло так, что сами улеглись на труповозки и были сброшены не вем под какую столетнюю берёзу; и пока коренья прорастали сквозь германскую падаль, русская душа уже отбросила месть и окончательно призабыла стожильную тягость войны и тридцать миллионов павшей родовы. Повалились, где схватила шальная пуля, но не отдали ни локтя пашенки окаянным, «ненашим», этим анчуткам и кикиморам, шишам сатанинским, что слетелись, грая, алчно расклеивать Русь. И обожрались, и подавились, и пожранное тут же выблевали вместе с сердцем... Вот вам в науку, и пусть она не испроухнет, не изредится на все грядущие годы!

Не чудеса ли это? Лишь невольно разведёшь руками, вспоминая затухающее предание и своё детство. Братцы, это же со мною было, это я прижимался к материнской пальтохе, стоя на угоре, на который должен бы взойти отец, возвращаясь с войны. А его всё нет и нет; уже и память стала зарастать травой. На каких путях затерялся безвестный, отзовися! Ау-у! И нет мне ответа.

...Барщина и оброк, оброк и барщина. И так без конца, из веку в век тянет государство с мужика, и воля незаметно скукоживается, как шагреневая кожа, превращается в католическую облатку — эту сладкую обманку, в которой хитрой рукою «копытника» запечена благодать. Проглотил — и грехи тебе прощены, и ты сразу похож на пасхальный куличик, с лакированной от жара корочкой и с духовитым тестичком, в глубине которого упокоились изюминки, похожие на усопших тараканов. Братцы мои, войдите в ум, подскажите, отчего даже Бог не может установить порядка, призвать к ответу жестокосердых? Эту половину людскую, насеявшуюся после страшной молотбы, что правит, мытарит, истирает в пыль родящее зерно — и не может окончательно прикопать... Ну хорошо, Бог не слышит, он ждёт, когда мы сами обратимся к добродетелям, и оттого, что так долго приходится

ждать спасения, народ невольно выпадает из веры, наполняется унынием. И я вот истиха приклонился к Богу, взмог на паперть и пугливо заглянул в смутные сумерки церкви, в глубине которой столпился тихо дышащий народ, напоминающий взошедшее пасхальное тесто, ждущее, когда его сунут в нетревожный жар печи. Но когда я был далеко от Бога, бежал от Него, чурался Его, разве легче было моей душе, засыпающей во грехе, тонущей в погибельном пьянстве вдали от спасительного берега? Что-то ведь незаметно стронулось в груди, опаматовалось, покойные родители стали куда ближе, и не такой жуткой и жестокой кажется неизбежная кончина, и кладбище утратило облик Бабы-яги, превратилось в тихую деревенскую пристань, в то прибежище, куда временно причалят лодки в грядущем странствии по небесным рекам. Если Бога нет, откуда эти ощущения постоянно-го присутствия Его возле тебя?..

Барщина и оброк — тягостное ярмо государства и нижайшая просьба отечества, матери-сырой земли в годы туги и печали. Ведь и управители милосердые и жестоковыйные никуда не денутся, в свой черед лягут в ямку, их зароют и забудут, но родительница-то будет жить. И если бы не возбудили в годы войны стойкость и мужество, не очистили бы глаза от спячки и не призвали бы душу к сопротивлению, то разве бы осталась родина жива, разве не разрубили бы её жадные торговцы и ростовщики на полти, как свиную тушу? Значит, все утраты были не напрасны, и павшие встали у изголовий живых, как святые иконы. Сталинские барщина и оброк отличаются от того жернова, что накатил на крестьянина Петр Первый для удовольствия себя и малого числа господ и сделал мужика подневольным.

Если бы безропотно, без осердки не затаили на войну ремень на последнюю дырочку, не скуля о трудностях, не впадая в крайнюю тоску и безволие, то войну, несомненно, проиграли бы. Эту «барщину и оброк» нагрозила не только власть, сам народ подставил плечи и засучил рукава, вооружив сердце молитвой и необходимостью жертвы, а иные господа и ревнители благочестия, напротив, затаились в тень, в сумерки скрытого обитания в ожидании лучших времён. Французы ради бутылки молока и мягкого батона готовно легли под немца через месяц, насколько не волнуясь о свободе, предках, великих преданиях. Это неслыханное предательство нации, коего в войнах между Германией и Францией прежде не бывало; стоит вспомнить Наполеона, который ради безумной идеи кинул под топор четверть населения страны, сжег её мужество на бессмысленных полях сражений. Его-то и не достало, чтобы спасти Париж от поругания... Русь же легла на жертвенный алтарь ради спасения души, и ничего от Европы, кроме плевка, не заслужила, но оттого разве стал меньше её подвиг? Пусть за кордоном пироги да го-

рячие пышки, а у нас сухари да сосновые шишки. Но мы не обзавидуемся от их внешнего благополучия... Ибо русские полагали Отечественную войну как последние времена в борьбе с антихристом, когда можно ещё явить подвиг, ибо грядет время покаяния, а за ним и Страшный суд. А значит, «кончится позорище света сего и не будет уже времени для подвигов... Жили мы по плоти, станем же наконец жить и по духу», — сказал Иоанн Златоуст. «И Бог, видя наше усердие, отпустит нам согрешения наши».

Однако путь к победе не только отнял молодых мужиков и плодящих баб, но, увы, истомил сердце народа, загрузил душу пережитой скорбью, а ум — печальными и угрюмыми сновидениями, которые невольно вчиняли яду в земную радость простой жизни, делали её заунывной, отравляя светлую сторону... Но и плоть, оказывается, крепко приустала за войну, поиструхла, поиздрябла. Привыкли воевать, и пролитые реки крови зачужили, замутили, замочили пашенку сквозь; нет, она пока не стала мачехой, но неурядливостью своей, моркотным, грязным каждодневным трудом незаметно стала похожа на военное, окопное бремя, которое в мирные дни не хотелось тащить на горбине; всякими манерами и уловками брызнули из деревни мужики и бабы по городам и пригородкам, чтобы, в слитном человечьем стаде отдохнув от военной надсады, вернуться к самому себе, и как-то незаметно отстали, отвыкли от несуетного, прежде такого любимого, радостного труда на земле-матери; стало забываться просторное русское небо, ласковое, умытое солнцем. Вместе с солнцем попритухли чувственная сторона любви и песни. Да и много вернулось с войны раненых и калек, косоруких и косоногих, с опаленной душой, и от этих инвалидов, утомленных людей родились в свой черед утомленные, развинченные норовом дети. От них и пошли те самовлюбленные «рахиты» и лицемерные «киланы», та «элитарная неробость», ныне перехватившая власть. Грязь и пошлость, без которой не обходится ни одна война, отчего-то всей тёмной стороной обрушилась именно на послевоенную городскую поросль, на детей тыловиков, подпольных ростовщиков, партийных и комсомольских бонз, интендантов, газетчиков и актеров, свихнутых от своей особенности. Так бывает в обществе, когда сытые не понимают голодных и всячески гордятся своей отличкой от низкого большинства, тем, что Бог благоволил именно к ним. Они в Бога не верят и потому особенно боятся Его как неведомой, непонятной силы, которую нельзя приручить и купить взяткой, очаровать особым умом, который не дан «варварам», поэтому рыло воротят, брезгливо кучкуются в отдалении, боятся запачкаться от низов, папахивающих навозцем, но своим благополучием лицемерно подчеркивают близость к Спасителю, меж тем люто ненавидя Христа как Царя и верховного покровителя «быдла».

И в конце двадцатого века снова «барщина и оброк». В семнадцатом бедные отобрали у богатых своё, и вот, выждав момент, стяжатели, почуяв прежнюю силу, решили забрать всё назад, да ещё и с большими процентами. Ведь берёшь-то чужое, а отдаёшь своё.

Наши демократы-либералы вдруг оказались у громадного валуна на распутье. Ну как в сказке старинной. На камне выбито зубилом: «Налево пойдёшь — к мавзолею попадёшь; направо пойдёшь — на Нью-стрит попадёшь; прямо пойдёшь — к Сергию Радонежскому попадёшь». Вот и гадай... Господин Ельцин всё просто решил: сел в «Боинг», набрал высоту и от кислородного ли голодания, иль от пьянящей свободы, иль от кислухи-бормотухи вскружило ему голову, экипаж развезло, и стал «Боинг» крутить над замшелым камнем, спутав его с американской статуей Свободы.

Первым опомнился истинный марксист Бурбулис; он всё умеет, знает верный курс, вот и направил «Боинг» к истинному Ленину через Сан-Франциско к пирамиде Хеопса. Осторожный Гайдар, проводив взглядом хозяина, на всякий случай (а вдруг сгодится сибирский мужичонко) подхватил стоящего в унынии на обочине Егора Лигачёва, и машина помчалась налево, при этом каждый думал о своём. Гайдар знал, что если двигаться всё время влево, то невольно окажешься справа, где и ждёт гешефтмахер с мамоной, постоянно путающим стороны света, пытающимся совместить север с югом, а запад с востоком, чтобы прогнать Спасителя с престола и сесть на его место. По накатанной дороге мчались шикарные лимузины, и дикари, которых Ельцин когда-то на короткое время милостиво называл «мой народ», вытаскившие Бориса Николаевича из забвения себе на голову, торопливо доедали бесплатный суп «армии спасения». Опричники Председателя зло косились на «халявщиков» и теснили бессловесных подальше с глаз. Они тоже хотели бесплатного супчика из окорочков господина Буша. Коренной же деревенский люд, аборигены, толпились по-за лесами и, кто посмелее, протискивался через заслоны к кювету, не решаясь всползти на дорогу и потребовать кусок от «лиги дармовой еды». Но вот показались с полуночной стороны оплеванные с головы до ног русские патриоты на косматых северных лошаденках-мезенках и потянулись узкой, корытом, тропой к Сергию на поклон, и, странное дело, сокрушенный духом народ как-то неожиданно повеселел, воспрянул и двинулся следом туда, где сиял из Лавры непотухающий святой лик.

...Тут в дверь резко постучали, как будто пришли незванные черные гости за хозяином. Царь вздрогнул (так далеко от таёжной деревнюшки кочевал в мыслях), смахнул бумаги в картонный ящик, задвинул ногой под стол.

— Кто там? Открыто! — крикнул Царь, с трудом возвращаясь к реальности. Если Даша, так ей нет нужды стучать в дверь; Пиросмани чувствует себя хозяином в избёнке, в каждой житейской мелочи видна его умелая рука; Рахманин, тот не заходит, чурается закадычного друга, знать, боится угодить впросак: явится — а тут его бывшая, другому щи варит. Может, баба с дальней дачи снова прибрела с кушочком масла на продажу?

— Тут Царь живёт? — раздалось с улицы.

— Тут, тут, — отозвался Царь, широко распахивая дверь.

Хрипловатый прокуренный голос почудился шибко знакомым, почти родным. Царь откинул щеколду, отпахнул дверь. На крыльце стоял старый друг Алмазов, но какой-то чужой, с вялым, сонным взглядом, несатым серым лицом; волосы над ушами были сняты высоко и походили на петушинный гребень, и только борода, испрошенная серебряными нитями, заткнутая по привычке за ворот иноземной рубашки, была прежней — купеческой лопатою.

— Горыня Никитыч, какими судьбами? Заждались... Где-то блуждал, а тут революция. На тебе... Прозевали-с, господин Алмазов. Всё поделено, всё раздербанено, да-с.

Царь не кривлялся, не представлял из себя лакея-простака, встретившего хозяина после долгого заграничного вояжа, но был искренне взволнован встречей со старым приятелем, с которым столько корешили и вот разминулись коренным образом, и думалось, что навсегда. Ждал, ждал его, а тот всё не приходил: может, брезговал иль чурался спившегося дружка... Богат и знатен стал Алмазов, и многие завистники уже успели распустить сплетенки: де, Горыня не только испроказился, скитаясь средь «басурман», но и продался проклятому мамоне, щи хлебает из одной миски с ним и прислуживает ему из выгоды, стал невероятно скуп и забыл родные пенаты. Врут, конечно, многое не столько из злорадства, сколько от той нищеты, куда безвозвратно упало русское искусство. А тут человек не только не сгинул в нетях, не спился окончательно, не оконфузился на чужбине, не угодил в «смиранный дом», но через парадный вход вошел в самые высокие круги, где не считают копейку, едят из серебра, а пьют чай-кофеи из севрского фарфора. И ведь ничего не стащил из России с собою за бугор, не польстился на чужое, а уехал, горемыка, не в гости, а как бы в таёжные урочища к медведю на выслугу — и на тебе, не засох, не вылинял, как песок-крестоватик, а стал важной фигурой — за семейного живописца у сытого иноземца, гребущего «зелень» лопатою. Того вдруг перед концом жизни потянуло на вечное, и тут ему подвернулся забитый нуждою, смиренный бывший русский пьяница, пишущий пусть и не самого Христа, как Александр Иванов, но очнувшихся дельцов, неожиданно потянувшихся к Спасителю.

Царь застыл на пороге, невольно перекрыв собою путь, а Горыня не птичка-трясогузка, чтобы проскользнуть меж хозяином и дверной колодой, шумывая хвостиком. Он по-прежнему в теле, вальжен, степенен, руками зря не машет, языком не чешет, правда, лицом приусох, щёки впали, но брюхо прежнее, пивное, и просторная вельветовая хламида песочного цвета, кулём висящая на покатых плечах, не может скрыть внушительный горбышок. Весь вид выдаёт благополучного художника.

— Ну что, так и будем стоять? Может, в дом пригласишь? — Голос у Алмазова снисходительный, чем-то недовольный: по физиономии не заметно, что приятель рад встрече. — Смотрю, отстроился, выглядишь молодцом, богатства нажил, значит, зря времени не терял... Мы по чужбинкам бегаем, подбираем объедки с барского стола, глодаем собачьи кости. А ловким-то да прижимистым галушки сами в рот прыгают.

— Смеёшься над нищим литератором? Давай вместе посмеёмся... Горя, ладно, что живой! И весь сказ. Ты ли это? Дай пощупаю... Как с того свету. Явился, значит, не запылелся! Сколько ни броди, старичок, по свету, а к дому-то тянет, а? Будто медом намазано!

Царь кинулся к другу на грудь, едва не свалил с крыльца, стесняясь, спрятав отсыревшие глаза в колючую бороду Алмазова, густо политую парижскими духами, напоминающими кошачью мочу. Но неистребимый запах друга разве можно перебить даже самой дорогой заграничной «шанелью» по тысяче долларов за флакончик? Так и втиснулись в дверь в обнимку.

— С Парижу — и в чеснотный дух... Тоска, треска и доска. — Царь не давал Горыне вставить слова. — Смешать ароматы — вот тебе и русский шанель, и дым отечества, и чаны смолы кипучие... Не ко времени прибыл, старичок, как бы заново не побрили. Кто зуб-то на тебя имеет. Сделают обрезание и не почувешь, проснешься уже в другой стране — с кипой на лысине. Иль кровь сменяют. Такие ухорезы завелись. Го-ря-а, откуда только и повылезали, черти окаянные, из каких тараканьих углов? Раскалённым утюгом прижигают, ради медной полушки, Го-ря-а, такая нынче завелась забава: на пылающие уголья ставят босыми пятками, только шорстка на груди шкварчит и сальце кап-кап... Вот и вся «шанель»-мандель...

— Сам стоял иль как?

— Да нет, — смутился Царь. — Самому, слава богу, не привелось. Слухом земля полнится.

— Сам не стоял, а квохчешь, будто курица над яйцом... Меня им нынче не взять. Другого полёту. — Горыня будто бы расслышал со стороны хвалебные слова, совсем лишние, и спохватился, поправил себя: — Им, конечно, закон не писан, они не только из картошки, но и из человечинки самогонки выгонят да тебе же и выпоят. Ибо без Бога живут, бисова племени скотинка. Но и я-то нынче другой человек.

— Это как понять? Вроде бы прежние руки, ноги, голова...

— Вот другой — и всё... Не твоего ума дело... Выкинули из памяти, так думаете, скис Горыня, исход, испустил дух под чужим забором, только вонь пошла? А я, как видишь, не сквасился, весь пред тобою в наилучшем виде. Правда, пока без гостинцев... Ещё не разобрали чемоданы. Но найдется тебе и выпить, и закусить.

Алмазов прошелся по комнате тяжело, по медвежьим, половицы скрипели жалобно, прогибались под пятою. Задержался у окна, вгляделся в заснеженный дачный посёлок. Меж берёз просвечивала усадьба Мукосея, высокая кирпичная стена, широкие зелёной жести ворота, над ними странное сооружение в три этажа, сбитое из досок. В застрехах, в изломах железной крыши, во множестве карманов уже сплотились заструги снега.

— Это чья ж такая халабуда?

— Борьки Мукосея дворец, может, помнишь такого? Нынче представитель Ельцина по нашему краю. Направлен сюда пенки снимать. Такая сволочь, скажу тебе.

Царь притиснулся к плечу Алмазова и ненавистным взглядом уставился в стекло, невольно оттирая гостя к простенку. Николаю вдруг стало крайне неприятно, что гость, толком не разглядев избёнки, в невероятных трудах ставленной руками Царя, как бы пренебрёг ею, найдя особый интерес в хоромах Мукосея. А что там смотреть? Эка невидаль... Деньги чего хошь постройка. Ничего, на каждую зверушку есть своя петелька. Уловим и придавим, сдадим шкурёнку в «Заготживсырьё».

— Как не помнить Мукосея, который, бывало, отирался в моей мастерской. Подбивал меня то на сделки с сахаром из Краснодара, то предлагал вагон копчушки из Воронежа, то шелковые халаты из Адыгеи... Но я не поддался на его уловки. Чудны дела твои, Господи! — Алмазов пригляделся к другу, уловил в лице злорадство и жесточь. — Завидуешь, что ли? Старичок, это нехорошо... Как-то не по-людски. Человек всё-таки, да и какая из него шкурёнка? Только погребальные тапочки шить.

— Я... Ему? Завидую? Этому мелкому бесу, обросшему звериной шерстью? Сволочь, мошенник, пробу негде ставить. Горя, видел бы ты его. Не узнаешь... Теперь к нему не подступись без приноса в «зеленых», а звать его Борисом Аркадьевичем Мукосеем, он в звании генерал-лейтенанта и под ним не только город N, но и весь наш край на шестьдесят тысяч квадратных километров... Считай, две Польши. Был мелкотравчатый подпольным грызуном, а стал спесивым як поляк, говорит через губу. И прозвище у него: Боря Два Процента. У входа стоит кожаный мешок, и каждый входящий бросает туда принос — «котлету» из «капусты».

— Да ну?! А я к нему собрался... — Алмазов наконец-то присмотрелся к жилью Царя, к его скудному убранству. — Просто, но со вкусом. — И только тут вроде бы увидел свою давнюю картину «У часовни». — Грустно, но хорошо, чудно как-то... Правда, хорошо? Нынче мне так, пожалуй, не написать.

— Да брось ты...

— Душевно, просто и с внутренним восторгом... Сердце пело, когда писал. Помню, приехал к Личутину. Глухая рязанская сторона, сыри, ельники, болотная низина, пахнет прелью, приступающей весной, снег влажными сиреневыми плешинами у святого родника, где-то тетерева-черныши играют на дудке звонко так, залиvisto, на всю округу... И эта вот древняя часовенка, спрятанная от чужих глаз, скрытня, слепленная деревенскими плотниками, вроде бы на скорую руку, куда шел народишко со всех сторон, чтобы убрать с себя налипший житейский сор... Таинственно, музыкально и грубо, словно век шестнадцатый иль куда дальше от нас... Нет-нет, так нынче мне не нарисовать, рука задеревенела, взгляд закосячил, и сердце приостыло, сумбура внутреннего нет, прежней глупости, ужаса от своих грехов, прежнего разгильдяйства и дикости, воспоминания о них каждое утро после попойки хотелось вымести из груди прочь и перемениться... Но наступал вечер и... Да что там говорить, сам всё помнишь.

— Да брось ты, — уныло повторял Царь, уставясь в широкую спину Горыни, в густую, в седине волосную, рассыпанную по плечам, по которой тихо скользил снежный свет из-за окна. Это фрамуга, приоткрывшись, шаталась в петлях и волочила по избенке, как в кино, лоскутья скромного зимнего пейзажа...

Слова друга казались Николаю вычурными, театральными, из какой-то дурной провинциальной пьески, где герои постоянно причащаются от безделья сладкой водочки втайне от жены и мечтают застрелиться от скуки иль повеситься.

Алмазов вздрогнул, очнулся, снова обвел взглядом житишко друга, не поворачиваясь к Царю, искренним голосом затынул, как молитовку:

— Раньше я ко всякому чуду относился просто, небрежно, с ухмылкой. Потому что всё вокруг было чудом, как хлеб, вино, молодые девки, и потому за чудо не принималось... Зарапортовался я и вообще не мастак говорить. Ну, ты понимаешь меня... Был молод, широк в жестах, жизнь впереди бесконечна, всё повторялось, и чудо не казалось чудом, хотя глаз ловил какие-то картинки, умилялся, и душа отзывалась. А время так быстро сократилось, сжалось по срокам, противный берег был далеко, едва виден — и вот уже рядом, и Харон правит лодку в мою сторону, виден каждый взмах его весла, капли воды, веером летящие с лопасти, его угрюмая улыбка в казацких отвисших усах, седой оселедец, закинутый на правое ухо. И дни, как эти брызги воды, слетают с лопасти

и пропадают в реке, чтобы уже не вернуться. И потому всё просто, безлукавно, и в чудо превратились лишь оставшиеся, подаренные Господом дни. Нет-нет, всё на самом деле чудно, но уже не для меня... Я вижу, что ты не веришь в мою искренность, думаешь, что это балаган; да-да, всё кругом по-прежнему чудно, но не осталось того ощущения чуда, что было у меня прежде. Чудно, что ты возле, чудна твоя избёнка, сбитая со старанием, чуден вид из окна, чудно, что рядом живёт мошенник Мукосей, бывший фарцовщик, а ныне генерал-лейтенант...

— Может, чайник поставить? — предложил Царь, чтобы оборвать покаянную печальную исповедь, такую странную из уст переуспевающего художника.

— Можно и чаю...

Горыня наконец-то нашел свой угол, грузно оседлал табурет, ненадолго умолк, деловито выцапывая ногтем надоедливую живулилку на левом виске. Застарелая привычка не оставляла Алмазова. Он даже прижамурился от удовольствия. А может, добывал верную мысль из мозговых извилин.

— Чаю, чаю накачаю да вина в придачу... Всё вошло в свою колею, старичок, устаканилось, осталось лишь доживать.

Горыня умолк, подперев спиною стену.

— Что ты такое говоришь? А как жить без ожидания чуда? — испугался Царь, нарушив молчание. — Уж на что я, пропащий человеченко, и то чего-то жду, каких-то добрых перемен, вот и Советскую власть перестал ругать, и к Богу, наверное, шатнулся — вдруг примчит на своей колеснице на землю, погрязшую во грехе и содоме, и порешит в доме Богородицы всю эту гнусь огненным мечом...

— Ты вот ждёшь чуда, сложивши на коленях руки, а для меня чудо — каждый день, и надо его потратить с толком. Выйдешь с утра, помолитесь на восход, поклонись солнышку: «Здравствуй, отец родимый!» Плохо, Коля, что мы от Бога всё чего-то ждём, Господь нам чего-то должен поднести на блюдечке с голубой каёмочкой... А это не Он должен нам, а мы Ему должны... Для нормального христианина чудо — каждое утро. Вот прожил день, дай ему оценку: всё ли сделал, не пропустил ли чего по лености своей. Когда у меня что-то не получается или сердце заносит, я звоню в монастырь, духовнику своему: помолитесь за меня, пожалуйста. И тут же всё на свои места становится. Я из запоев выходил через госпиталь: не мог без медицины, каждые два-три года у меня были срывы. Да что я говорю, сам всё знаешь. В последний раз меня отмолили в греческом монастыре, и с тех пор Господь миловал. Хотя всё время в затылке сидит мой враг... Весенне-осенние запои. Они ночью приходят и душат меня кошмарами. Смесь этих пожаров, крови, больниц, госпиталей, дурдомов — жуткая и постоянно грозит взорвать башку...

— Но сейчас-то всё наладилось... Денежки-то есть, так и калачики ешь...

— Как сказать... Как терапию, я в одно время сделал серию дурдомовскую. Я никому её не показывал. Страшно смотреть... Как иллюстрация к нашей советской действительности. Доктора — это власть, а пациенты — мы. Но в то время мне казалось, что моя работа — это служение Отечеству, обновление загнивающего, борьба с дряхлеющим миром. А на самом деле была эзоповская игра. Игра ради удовольствия, скепсиса, гордыни, этакий кукиш в кармане. Старичок, мы даже не представляем, какое чудное было время: мы ведь не спали, мы развивались, оттачивали мастерство, закалялись для грядущей национальной борьбы, возбуждали русское чувство, во всяком случае, пытались вырваться, как мыши, из этой тесной кладовой, где нас поселила судьба, фыркали, воротили нос, погрязнув в пьянстве, но ведь находили питательные зерна. А сейчас мы живём в амбиции, что нам все должны. Тогда у нас не было смирения и терпения — так хотелось мгновенных перемен, а сейчас нет любви...

— Меня имеешь в виду?

— И не только... И себя тоже. Живу как Мамай на чужой земле. Жду, когда погонят...

— Так одинок? И деньги не спасают? Бежал от пожара и вернулся к пожару...

— Ну как одинок... Жена была рядом... Погорела вроде бы моя мастерская, а огонь сметнулся на всю страну и давай подметать. И всё погорело. В стране новодел, в церкви новодел, в Москве новодел... А как-то человеку себя лопатить, менять образ жизни, значит, и свою суть, кланяться мамоне... Вот и мне пришлось себя заново строить, лепить из лоскутьев и покровков, сшивать нового человека. Делать себе имя в Америке. Я-то ощущаю себя русским, только не нужно выкобениваться и выкручиваться, доказывать, что ты святее самого Папы Римского. Я там русский человек, русский художник, со своими тараканами в голове, со своими особенностями, которые американцев веселят, а с другой стороны, им интересен русский тип, о котором они знали что-то понаслышке, и вот он рядом, этот абориген из страны белых медведей, слепленный из мифов, сказок, анекдотов, скверных слухов... Помню, Вадим Кожинов меня однажды укорил, дескать, ты делаешь, что любишь, да за это ещё хочешь, чтобы тебя хвалили, почитали и тебе кланялись. А ведь Кожинов не стал вполне верующим человеком, но он зрит в суть вещей, в самую духовную сердцевину, как глубоко верующий человек. Вот где загадка... Откуда в нём эта проницательность? Филолог, а стал философом, экономистом, статистом. И я подумал однажды: действительно, я неблагодарен судьбе из-за гордыни своей: ведь жив-здоров, слава богу, семья, дети, любимая жена... Это моя беда, потому что гордыня впереди меня бежала, с чего и нача-

лось. Меня на руках носили: как же, новый гений явился в мир... Я служил людям, каким-то временным идеям, своим смыслам, а не Богу, вот в чём дело. Я служил себе, своему окаянному брюху, своим похотям, честолюбию, своим привычкам, утехам и видел лишь в этом смысл жизни. Жил с закрытыми глазами. Что-то красил, делал подмалёвки и почеркушки, изводил краски, создавал видимость служения Отечеству. Вот в чем дело, и если что и получалось дельное, то вопреки, ибо находился я в постоянном помрачении сердца и иступлении ума... А Господь однажды навестил мою мастерскую и провёл свою бухгалтерию: дескать, хватит, наигрался в искусство. И нынче осознаю случившееся и с болью и с радостью одновременно. Потому что открылись душевные очи, разум очистился, гордыня отступила. Мне неприятно даже назад смотреть, мне многого стыдно. Низкий поклон супруге моей Зинаиде, которая не отступилась от меня, вытащила из ада к Господу и упорно несёт по жизни на своих плечах добровольный крест, и детей на ноги поднимает. Знаешь, Коля, внуху не возрадётся, если он не прелюбодействует. У него отрезано это место. Возрадётся тому, кто знает, во имя чего этот подвиг. Вот монастырским монахам возрадётся сторицей, ибо они знают, для чего перемогают искушения и страсти, уйдя в затвор...

— Ты спасся, Горыня, это чудо, но не забывай, что краше России в мире ничего нет... Как бы тебе родину не позабыть...

— Нет и нет... Такого не будет. Но почему в Америке ценят, что я делаю, и платят большие деньги, а в России это всегда не ценно? Вот погибал я, и все махнули на меня рукой: дескать, пропащий, что с него взять.

— Мы пишем не для того, чтобы нас потребляли, тешили и холили, — настаивал Царь, путаясь в словах, стараясь доходчиво выразить мысль. — Русский художник мучается над холстом зачастую без всякой надежды, что его работу кто-то купит. Это его добровольный крест. Преодоление искушения. Разве мастер-живописец не тот же монастырский подвижник? И жизнь его — не преодоление своей брэнной малости, ничтожности?... Художник пишет, потому что не может жить, не высказавшись, иначе душа лопнет от внутренней невыразимой муки. Невыразимая мука — как точно и мощно сказано! Правда, не мною... Мука, которую нельзя объяснить словами, но можно понять, лишь самому пережив её и не отступив по своему ничтожеству. Иль не так? В России ты был посвященным художником, и потому черные силы приступили к тебе вплотную и решили сломать. И лицо государя на картине продырявили из пистолета. Прямо в лоб... Намёк? Мастерская сгорела, а портрет остался... Черная метка? Наверное. А в твоей Америке, куда ты нанялся по нужде, они потребляют тебя и к твоим работам подходят как к

товару, к мебели, которой обставляют квартиру; чтобы было не только красиво и удобно, но и дорого, чтобы можно было похвастать ценою. И тебя вписывают в эту мебель, вставляют в счёт и расчёт. Всё для себя схватить и под себя устроить — их заповедная мечта, чтобы ниоткуда не капало и не поддувало, и потому скупают в мире всё, более или менее достойное их вкуса, и прячут в своих усадьбах, в кладовых, банках, подземельях... И талант для них — капитал, и потому его надо присвоить. Золото, которое не гниёт, да к нему талант — и получается сокровище. Ты пять лет горбатил, а твои картины пропали в кладовой никому не известного, тайного семейного капитала, но тебе, Горя, капельку отщипнули, чтобы не помирал, а тянул, как вол, добровольную лямку. Может, и хорошо отщипнули, я не спрашиваю.

— А ты видел мои работы? Что ты знаешь о моей жизни? Я, как птица Феникс, воскрес из пепла. Что ты знаешь об американцах?... А твоя Россия хотела меня закопать.

— Видишь ли, Горя, я живу далеко от Европы и Америки. Я действительно ничего не знаю и знать не хочу. Ехать, чтобы видеть, как эти узколобые лютеране и протестанты лопают свои гамбургеры величинной с техасскую шляпу? Нет уж, уволь... Я доволен и тем, что взгляд мой узок и примитивен и упирается в берёзовый угол. Зато никто не может купить меня...

— Да и никому ты и не нужен... Тоже мне гений-одиночка, херр с горы. Расквасился... Не от хорошей жизни я кинулся на Запад.

Алмазов сердито махнул куда-то за окно, где монотонно сыпал хлопьевистый снег, и за этой подвижной, шелестящей стеною, где-то на краю света, притаилась другая, необыкновенная, зазывистая земля, в которой обитают сытые, благополучные люди. Они уже наелись от пуза и теперь хотят красоты и в поисках красоты шарят вокруг взглядом и щедро прикупают себе... А почему бы и нет?

Горыня, наверное, не собирался оставаться там, даже в мыслях не строил такие планы, но, не признаваясь себе, одной-то ногой уже твердо стоял на том берегу, завёл связи и как бы завис, раскорячась, в самом неудобном положении... И плотское никак не сдруживалось с духовным, позывало к протесту; но зачем объявлять другим о немирности внутри, о смуте, душевной разладице и незатиhaющей обиде? Радовать врагов и завистников, стенающих по раю, навсегда скрывшемся за горизонтом? Зарылись в землю по самые ноздри и не хотят понять, что «алые паруса» коммунизма уже никогда не причалят к русскому берегу, не отвезут в сияющее прошлое и надо терпеливо устраивать новую жизнь. Имеющий уши да услышит, а у печальников по прошлому уши обросли густой шерстью...

Не успел толком разглядеть родную сторону и распаковать чемоданы, а эти доброты и милостив-

цы уже ковыряют душу и за самим недобрым строем разговора, за недомолвками неловко прячут не только упрёк, но и прямое подозрение в измене. Сбежал, дескать, Алмазов, за бугор, где пожирнее щи и погуще каша, когда так тяжело русскому народу; вместо тяжелого ячменного колоба выбрал себе немецкую сардельку, похожую на канцлера Коля, да кружку «Баварского» и давай угощаться с новыми друзьями, позабыв, какой пожар катится по России.

— Не обижайся, Алмазов, но там чужая земля... Ты сердисься, потому что я прав. Ты же блестящий художник. Они сожрут твой талант на потребу, а душу заменят на бухгалтерские счёты.

— Вы что, все сговорились? Справляете панихиду... Талант нельзя сожрать. Как ты не поймёшь! Голову надо иметь на плечах, а не тыкву. Талант иль есть, иль его нет. Он от папки с мамкой, но погибает от нищеты, зависти и пьянства... Как бы ни был ты дерзок и одержим...

— Ой-ой, кто бы говорил. Да, талант нельзя сожрать, но можно распотчевать по капле, как божественный нектар, умиляясь, восхищаясь, обкусывать по крохам. Талант, как шагреновая кожа, скукоживается, засыхает без полива родными русскими дождями. Ведь дом-то Богородица построила себе не за океаном, не в городе Желтого Дьявола, не на Брайтон-Бич, где и взялись тебя крышевать ловкие утёклёцы, а он тут, за окном, в этих таинственных сырых и мрачных суземках в соседстве с лешим, возле часовенки в угрюмом ельнике, у этого Светлого озера, где живут весёлые хвостатые девы-русальницы, жадные до любви... Да что тебе толковать, переливать из пустого в порожнее, — махнул Царь рукою, сдерживая упрёки. Ведь сам тонет в зыбкой моховине, а протягивает руку со спасением приятелю, стоящему на надежном берегу. А нужна ли ему нынче дружеская рука — вот вопрос. — Прости, Горыня, спившегося дурака, утопающего в слезах и воспоминаниях. Мукосеи давят, изводят меня, чтобы я переменялся под их размер, да я-то не желаю. И потому я прокаженный, заразный для них. Они уверяют: пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Но тогда толстому не останется смысла жить... Он уходит следом. Таков природный союз тьмы и света. Тонкий уводит за собою толстяка... Давай, старичок, вспомним молодость, выпьем чайку со свистом за твой приезд.

— Ты стал какой-то злой, сердитый, — с укором сказал Горыня, присматриваясь к другу, его утомленному, испитому лицу, с желтой, в трещинах, кожей горького пьяницы, пониклым седым усам, когда-то торчащим наостренными пиками, и поредевшей сивой бородёнке. Куда делся прежний голубоглазый самовлюбленный красавец с повадками гвардейского поручика? Уже ничего царского в облике и привычках; сидел перед Алмазовым уставший, рано постаревший чужой человек. Хотя что-то прежнее, на-

верное, проступало в выцветших глазах, в этой вопрошающей мягкой полуулыбке, гордоватой посадке головы, в манере насмешливо «подъелдыкивать». Горыня вдруг представил: таким был русский государь, когда примерил новую солдатскую форму с полной полевой выкладкой и неожиданно почувствовал на своём горбу тяжесть военной судьбы, когда жизнь измеряется всего лишь одной минутой перед боем: по команде выскочить из окопа с винтовкой наперевес и успеть добежать до вражеского окопа, чтобы увидеть полные тоски и недоумения глаза иноземца, ещё не успевшие загореться жаром мщения.

— Я собираюсь написать картину: «Гибель святого семейства. Расстрел государя». Хочешь, возьму на туру с тебя? — сказал Горыня, как о давно решенном.

Царь лишь равнодушно пожал плечами, подумал с недоумением: «Почему Алмазов всё о себе да о себе, не спросит, как я живу? Я-то ведь не помер, не откинул копыта. Может, и не живу, а существую, но не превратился же в плесень и лишай, не прилип ракушкою к днищу подводной лодки, приплывшей из Пентагона в кремлевские палаты. А был зван на пир и привечен московскими бесами. Даже какое-то время был принят за своего и мог бы, как гайдарята, снять шорстки с русского барана, сделать себе отличный гешефт».

— Спасибо, Горыня... Добрый ты человек... Уважливый, Насулил, значит, другу дырку в лоб...

— Старичок, а как же ты хочешь? Это же искусство... Искусство требует жертв. Артисты вон за жизнь-то по сто раз на сцене умирают. Ха-ха-ха, — вдруг как-то сыто, раскатисто захохотал Горыня, откинувшись спиною к стене, и брюхо его заколыхалось под толстовкой. — Зато красивая смерть. Можно позавидовать.

— Ты однажды уже похоронил меня... А почему не спросишь, как я живу?

— Чего спрашивать, старичок? Каждый проживает свою жизнь... О ней не рассказать... Она, настоящая, протекает внутри нас.

Алмазов постучал по груди, отвернулся к окну, так и не прикоснувшись к чаю.

Царь устал был в крепкий, в складках, затылок Алмазова, собираясь с мыслями, не зная, что ответить гостю, глаза его невольно заплывли слезою. Он закричал, пытаясь скрыть слабость, и захлопал чаем.

Снег перестал, хмарь в небе разредилась, воздух на воле сдвинулся, с неба упали столпы света, и березняки принакрылись прозрачной голубоватой и розовой паволокой, накинутой поверх сугробов. Господи, красиво-то как на Руси! Горыня поскорвал ногтем по стеклу, как по крашеному холсту, приоткрывая глубоко спрятанное, чтобы не ошибиться в цвете. И оттого, что природа так щедро приоделась и приготовилась к празднику, в избенке Царя, напротив, вдруг стемнелось, помрачнело и всё стало убогим. Словно бы хо-

зайка сняла шторы, занавески и подзоры для предновогодней стирки, и открылось взгляду неприглядное убранство кельи. Это была истинная бедность монашеского быта, скорее нищета, которой отпихивается глубоко верующий человек от тщеславного внешнего мира, чтобы не замутить сердце.

Смутился ли Алмазов своей черствости, устыдился ли неожиданной сердечной лени, которая не волилась прежде за ним, а может, он и не заметил даже бестактности ответа? Наверное, от досады за холодную встречу он загрубился и теперь не мог оттаять. Да и от Царя не наплывало тепла, чтобы оттаяла душа Горыни. Она помнила лишь свои страдания, и в ней не находилось места для жалости и участия. Это в прежней жизни всё решалось легко: при встрече сразу бы сдвинули рюмки, причастились по первой, приняли по второй, и всякие узлы, недомолвки развязались бы сами собою, смылись хмелем и показались бы зряшными, не стоящими страстных слов. Но Горыня жил в «завязке» и, как бывший пьяница, «алконавтов» особенно не терпел, а в трезвой голове пристрастные мысли рожают враждебные чувства и отталкивающие поступки, разделяющие людей. Поэтому в русском народе всегда бытовало «привальное» как символ природного братства и всеобщего родства, искренней радости к вернувшемуся из отлучки, как из небытия, с того света; из веку при встрече, как водится, выставляли на стол жбанчик с питьём, братину, чашу, чарки, стопки, солдатские кружки или граненые стаканы из толстого стекла и наполняли хмельным вином, какое приводилось на тот час...

— Прости, Горя, что так скудно привечаю... — повинился Николай, намекнул: — Может, тебе чего погорячей? За встречу... Так я слетаю...

— Не принимаю. И тебе не советую...

— А мне не хватает... Слабость моя, с которой не хочется бороться.

— Человеку всегда чего-то не хватает. Есть деньги — нет славы; есть слава — нет на кусок хлеба. И так со всеми, кроме тех, у кого на сердце Бог. Я это понял, и мне сразу стало легче жить.

Горыня говорил искренне, словно бы делился откровенным ему сокровенным. Но голос был ележный, текучий, с приторной медовой струйкой, и Царь не принимал его, упрямо противился отеческому наставлению... Вместе лакали винище-то, можно сказать, под забором валялись в грязи, как свиньи, а тут вон как запел! Нынче лицемеров развелось, будто карасей в прикормленном пруду; давно ли Ильичу кланялись в ножки, а тут, почуяв поживу, стоптали Ленина в грязь и кинулись в церковь, чтобы встать поближе к амвону, в первый ряд, на глаза предстоятеля... Овечьё стадо боится потерять козла, чтобы не заплутать в диком лесу, не стать поживой серому волчару.

— Засиделся я у тебя. — Горыня тяжело поднялся, с трудом разламываясь в поясище. — И дома, поди, давно ждут. К нам-то бывай, не обходи стороной... Зина приветы шлёт.

Снова подошел к своей картине, задумчиво застыл, слегка покачиваясь, на миг погружаясь в минувшее, удивляясь, как ловко схватил настроение природы. Закатный луч с воли проник в избёнку и превратил затерянную в ельнике часовенку в диковинный лазоревый цветок, проросший из снегов у болотного черного ручья. Алмазов растерянно оглянулся, ожидая от Царя восторженных слов:

— А ведь здорово, а?

— Нынче, Алмазов, тебе так не написать, — сказал Царь беспощадно, будто отрубил.

Алмазов вздрогнул, его охватил внезапный озноб.

— Может быть, старичок... Тебе виднее... Ты писатель, знаток человеческих душ... А кто я? Так себе, седьмая вода на киселе. Но я считаю, где Господь дал служить, там и служи. Служи, как Господь заповедал, а не тому, что люди придумали...

Алмазов прощальным взглядом окинул комнату и направился к двери. Царь кинулся следом, догнал у порога, ухватил Горыню за шерстяной кушак, попытался удержать.

— Постой!.. Старичок, ты что, обиделся?

— С чего взял? — буркнул Алмазов, не оглядываясь. Голос скрипучий, глухой, даже и выяснять нет нужды, без слов всё ясно.

...Эх, дуралей ты, Царь, дурачина-простофиля, вечно ты всё напортишь прескверным своим языком; взял да и больно зацепил, ковырнул тайную болячку приятеля. Кто тебя просил? Ведь знаешь же: не суди, да не судим будешь...

Царь почувствовал себя ужасно виноватым; он так мечтал о встрече, чтобы поговорить по душам, поделиться мыслями, наострить себя для будущей жизни, такой нынче вялой, бессмысленной, похожей на умирание. Но не получилось; и где искать виноватого, ибо за долгую разлуку не то чтобы охладел, но призабылось прежнее дружество, те единящие — так казалось прежде — неискоренимые чувства, которые и сбивали воедино, не давали разминуться из-за пустяков. Знать, время выжигает все живые корешки меж людьми, и остаётся одна зола.

Снежная перенова ослепила приятелей, заставила зажмуриться. Алмазов остановился у крыльца, на сером одутловатом лице вспыхнула блаженная, какая-то детская полуулыбка. Кинул на скулы пригоршню снега, крепко растёр, снял с усов «скибочку» морозной пудры, кинул в рот, разжевал с хрустом, как сладкую вафлю, глаза очистились, разехались, как в той старинной еврейской приговорке: «один глаз на компас, другой на карманные часы».

— Счастливый... На земле живёшь, — прозвучало с неожиданной завистью. А может, так показа-

лось? Хотя, чего таить, эта мысль постоянно точила Горыню, но на чужбинке приходилось скрывать тоску по родине, чтобы не отпугнуть «клиентов». В глазах, в повадках, в лице, в одежде, в разговоре и обхождении должна кричать лишь радость от благословенной Америки, что приютила и спасла нищего художника; у настоящего живописца, а не какого-то несчастного мазилки и проходимца, в жизни всё «о'кей», ибо финансовое благополучие есть знак таланта, его вывеска. Приличный человек не может обвести вокруг пальца, оставить с носом; дескать, схватит аванс, а сам кроме заборов ничего и не красил. Ищи-свищи потом...

— А тебе кто мешает? Иль что? — приплясывал сзади Царь, выскочивший следом в одних домашних отопках и потёртой овчинной безрукавке. — Подожди, Горя, оденусь... Может, проводить?

— Обойдусь...

Алмазов надоело объясняться, выворачивать нутро. Не оглядываясь, повернул за угол, а Царь, изрядно огорченный, разом уставший, будто выпитый непосильным дневным уроком, вернулся в дом. Прижался щекой к печуре, кирпичи обдали стужей. Вспомнил, что с вечера не топлено, — экономия дров.

— Позавидовал, значит?... Эх, Горыня, и нашел кому позавидовать... Всё Запад, клятый Запад, он даже из светлой души живо сделает деревяшку, — бормотал Николай, ныряя от одного окна к другому, но Алмазов как растворился. Может, к Мукосею отправился? Два сапога пара. Там, в Америке, совсем ожмотился... Хотя бы бутылёк прихватил гостинцем. Не обеднел бы... Не пьёшь — твоё дело, никто и не заставляет, но друга-то порадовать, старичок, святое дело.

Стёкла заиндевели, наверное, от дыхания иль прихватил лёгкий куржачок, деревья едва проступали, утонувшие в тумане, и толком Царь не понял, куда затянулся Алмазов. Америка поманила Царя одним перстом и, поблазнив, разом умахнула в неведомые дали, закрылась навеки. Горыниной дороги Царю не повторить: не той закваски, из другой мучки слеппен. Да и кто там будет издавать сплетки и побаски русского националиста? И жизнь Царя, вроде бы своевольная, сбросившая при демократах запоры и запреты, снова нырнула по убродистой тропинке в свой замоховевший тупичок.

«Алмазов думает, я ему поклонюсь... Да ни в жизнь... Сам прибежит, спросит, что да как? — суетливо ворошилось в голове, а руки, дрожа, тем моментом сами собою срывали с вешалки колушек, ноги вбивались в разношенные валенки с калошами. — Ой, как это я забыл спросить Горыню, не видал ли за бугром бабу мою с доченькой? Выпадение памяти, чистой воды амнезия, склероз, даже забыл, как жену зовут. Надо завязывать с выпивкой. Это уже серьёзно».

Царь выскочил на улицу, надеясь догнать, по следам свернул за угол и неожиданно столкнулся с Го-

рыней. Алмазов никуда и не уходил, а закинув руки за спину, сцепив пальцы в замок, разглядывал свой надел, наверное, приценивался к земле, плановал, где что поставить. Осенняя травяная ветошь и будылья чертополоха бугровато пучились по сиротской кочковатой деляне, упорно выпирали к свету сквозь снег. Древние берёзы вставляли в небо скелетами доисторических существ, а нагие ветви походили на обглоданные кости ихтиозавров.

— Строиться решил, — объявил Горыня как о деле давно решенном. — Земля зря пропадает... Хороших денег стоит... Коля, учись жить у Мукосея, — добавил зачем-то Алмазов, имея в виду соседа. — Это же я помог ему ещё при Горбаче подняться на ноги. И неуж забыл? — Горыня не стал объяснять обстоятельства минувшего дела.

Он ведь, по правде сказать, и шел-то к Мукосею и лишь на миг, запопутьем, завернул к старинному приятелю, да засиделся с разговорами, и вот уже густые синеющие сумерки наплывают, а ввечеру без предварительного звонка нынче ходят в гости лишь «мафиози» с удавками да «следаки» с пистолями. Хотя и не был Алмазов в России добрых лет пять, а новые нравы узнал, ещё будучи в Америке.

— Я чего хотел спросить... Ты в Германии случайно моей жены не видал? — поинтересовался Царь, невольно сбиваясь от волнения на крик.

— Да ты что, старичок, совсем спятил? — Алмазов покрутил пальцем у виска...

— Да я так... А вдруг с Лизой... где-то пересеклись...

— Всё ещё любишь? — Горыня пристально посмотрел в растерянные глаза Николая. — Старичок, встретил бы твою, наверное бы сказал...

— Кто тебя знает... Жизнь полна неожиданностей, а люди — перемен. Как времена года... Земля широкая, а пути по ней узкие.

— Это я хорошо знаю.

Алмазов обошел зимовейку Царя, застыл напротив владений Мукосея, разглядывая три этажа новодела.

— Борька мо-ло-дец! Знает, как надо жить и для чего жить. Думаешь, почему из досок-то лепит? Не денег жаль, а чтобы не высовываться дерзко до времени, чтобы не приставали с дурацкими вопросами: откуда, Боря, у тебя денежки?... Революция меняет не только характер, но и биографию. Учись жить, Коля, и оставь «новых русских» в покое... И что ты к ним пристал? Пусть живут, как могут, как им Господь постановил.

— И ни к кому я не приставал. С чего ты взял? Мне они до фонаря. Но ужасно неблагодарный народ... А Мукосей — дурак... Делает петли, заячьи скидки, прячется за забор, вроде бы не вижат. А уши-то торчат... Всё равно за ушко да и на солнышко: спросят, откуда денежки?... Как ни крутись, кривое само вылезет наружу... И с собою на тот свет наворо-

ванное не заберёшь: у гроба карманов нет... Ильмышь погрызет, иль шашель выточит.

— Коля, тебе пора в компартию... Вижу, созрел.

— Куда-а! К этим сволочам?! Ты дурак или как? Они всех продали и предали! Обвели вокруг пальца и выставили на мороз! — визгловато закричал Царь. — Это масонский политотдел! Кирпич на кирпич, и получается каганат! Иль не знаком ещё?

— Не кричи... Кругом уши, — засмеялся Горыня. Он давно не был в России и не представлял той смуты, что прочно заселилась в умах. Порядки новые, а смыслы в головах старые. Стяжатели схватили у коммунистов власть, банки и почту, а нестяжатели снова остались с лопатой и кайлом. На русских косяках собираются революционные мстители выстроить золотой алтарь своему владыке. — Пожалуй, сейчас позновато, — решительно оборвал Алмазов. — Ты всё про политику, а я жить хочу... Я от политики отстал... Не пойду к Мукосею... Хотя у меня к нему есть предложение. Думаешь, он с деньгами? — снова засомневался Горыня.

— Чего тут думать, если точно знаю. Куры не клюют... У него и прозвище: Боря Два Процента. Такой размер добровольного приноса. Сейчас деньги возят самосвалами, самолётами и вагонами. Хитрые носят в хозяйственных кошелках иль в рюкзаках... И складывают за «бугром» в тайные чуланы и кладовки... Ты, Горыня, был последний в России, кто хранил деньги в сейфе. Всё покрали, сволочи. И твой сейф стырили ловкачи... А тут и на хлеб нет...

— И не будет... Выбрал свой путь и топай, пока не околеешь... Знай, дружок: совесть и честь стоят дорого, никаких денег не хватит. — Алмазов задумчиво, прицениваясь, усталился на приятеля. — Надо победительно смеяться, а ты всё ноешь. Наши слёзы врагам в радость, они настаивают из них вино победы... Уже захмелились и торжествуют над русскими баранами. Ведь если шустрый, но осторожный Мукосей гонит свой сарай вверх, значит, осмелел, придурок, его так и тянет высунуть свой горбатый клюв из-за забора: дескать, не зря боролись за власть, вот и голову слегка вскруживает, и сердце винтом. Непременно захочет Мукосей свою мордуленцию запечатлеть на века, повесить в парадной зале, чтобы хвалиться перед гостями... У него и жалованная грамота уже есть на столбовое дворянство, и орден Владимира с мечами, и пара церковных орденов. Не хватает только крепостных. А ты что думаешь?... Зато у меня имя в мире искусства, у меня вывеска: Европа, США, Индия, Китай — это тебе не фунт изюма. Сначала государева посланника накрашу, потом к Ельцину подкачу через его одиозных безмозглых верблюдов, воспитанников Ильича, что пасутся в приёмной и спиваются вместе с царём Борисом... Глазунов, этот старый крокодил, их стряпает ротами и батальонами, клонирует «мастер» злодеев, смеясь над идиотами, стрижет купоны, а я чем хуже?..

— Масон, что ли?

— Я этого не говорил... Где-то слышал, что-то читал. Может, и врут завистники... Коля, бери пример с Ильи Глазунова: человек достойный, хотя и себе на уме, его невозможно вышибить из седла... Но я разве хуже? — Алмазов приосанился, воткнул руки в боки, повел взглядом, не наблюдает ли кто. Может, Мукосей торчит за шторой и подсматривает в бинокль. — Я Горыня, персонаж былинной русской истории. Добрую дюжину президентов написал, с тыщу богатеёв, промышленников и дворцовых лакеёв, сотню баронёв, графёв и придворной челяди. Они у меня в очередь стояли в приёмной, если хочешь знать... Шли по списку, по протоколу за печатью. А теперь пора запускать бизнес-проект в России.

Горыня увидел, как округлились глаза Царя, и споткнулся:

— Шучу, старичок... Думаешь, хлестаковщиной пахнет? Гоголя начитался? Может, но чуть-чуть... Самое время почву пробовать, ворошить, брать на зуб, когда всё продаётся и покупается, оптом и в розницу. Кто прозевал, тот не успел... Всё можно, что не запрещено, — современный девиз спекулянта, ростовщика и мухлевщика. Хватай, только не подавись и не надорвись. Как в сказке: бери мешок по горбине... И когда у этих менял прорезались зубы, ты не знаешь? У всех разом, как по команде. Завопили: это мне и это мне, а остальное поделим поровну! В толк, старичок, не возьму... Живёте тут и ничего не знаете... Опять проспали русские ваньки, пропили волю. Всё профукали, пока поворачивались на печи к боку на бок.

— Опять мы хуже всех... Прежде я от тебя подобных слов не слыхал. В Америке нахватался дури?

— В Америке продаётся лишь то, что можно продать.

— А совесть, любовь, родина, а вера и честь? Тоже продаются? А предания, история отечества, доблесть и подвиг русских рыцарей, а гордость и терпение, а народные заповеди? А твоё былинное имя? Всё на продажу, в ходовой товар? Кто больше кинет на лапу? Хитёр бобёр: дерите друг друга за волосы, а я погляжу, чья возьмет. И Бог, наверное, про то толкует: не трать напрасно силы, если видишь, что нельзя изменить, повернуть на добро, пусть идёт всё своим чередом.

— Ты на Бога-то шибко не замахивайся, — вскинулся Горыня. — Сам-то хоть в церковь заходишь когда, прокурор — муравьиные ляжки? Уж больно строг ко всем. Когда судить кончишь?

Царю показалось смешно про «муравьиные ляжки», но он сдержался. Отвернувшись, буркнул:

— Ну как сказать... Когда новое время грянет.

Не станешь же посвящать Горыню, что некрещёный, хотя к церкви притягивает и что-то умильное вдруг просыпается в груди, когда слышишь на Пасху колокольные звоны. И невольная зависть берedit

сердце, когда видишь старушонку с румяным куличиком и пятком крашеных яиц, спешащую к храму. Столько упрямой деловитости в походке и решимости во взоре: а как же, её ждут, она кому-то ещё нужна даже на склоне лет со всеми своими хворями и неисчислимыми грехами...

— Зашел бы когда, свечку бы поставил, рука не отвалится, помолится бы искренне, со слезой, — сразу от сердца тягость схлынет... По себе знаю. Как худо — звоню батюшке в Воронеж: помолись за меня... Церковь-то, Коля, — наш всеобщий спасительный Дом, где каждому найдётся место, это негаснущий очаг, зоркое око, ободрительная рука, чтобы смиренно нести крест страстей... На колени бы пал перед Богородицей, поцеловал Пресветлую Матушку в край ризы, повинился, причастился... Церковь-то, старичок, не скупится на дары, поит и кормит духовным хлебом, распечатывает заскорбевшую душу, подметает грязное нутро... Глядишь, Господь-то и помирволил бы, поставил на ноги... Сладенький наш всех принимает, за каждого из нас, заблудших и окаянных, бьётся с нечистой силой смертным боем. Но и мы-то должны помогать Спасителю из всех своих малых сил, а не сидеть сложа руки, уповая лишь на помощь Господа.

Вроде бы слова ясные и мысли верные, но вот отскакивают от сердца, не хочется удерживать их в себе, всё чудится какая-то насмешка. Гордыня претит? А может, сутырливость, поперечность натуры всему виною, когда хочется возразить, надерзить; порою не ясно даже, отчего вдруг закипает буря в груди, кажется, рёбра лопнут и непонятное бунтующее существо, запертое внутри, выскочит наружу.

Наверное, этот елеинный тягучий голос Алмазова претит, вязкие двусмысленные наставления, понятные лишь Горыне, от которых в Царе не прибывает тепла, но видится лишь лицемерие новой паствы, сбежавшей из компартии к амвону, возложившей на себя учительный урок. Царю вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Горыня шел в свою деревню. Царь едва не заорал свирепо: «Хватит! Замолчи!» — но сдержался. Алмазов, наверное, услышал настроение приятеля и, не отваживаясь на дальнейший разговор, лишь добавил, уходя:

— Коля, вижу, как тебе худо... К нам-то, старичок, захаживай когда... не обходи стороной. Не один живёшь на свете... Зиночка моя будет рада, и Даша постоянно тебя жалеет, и Пиросмани вспоминает, выпить не с кем. Без Царя, говорит, худо. Щец похлебаешь, самогоночки примешь, жизнь-то и полегчает, и сразу смысл откроется.

Горыня хрипло, сыро засмеялся, будто захрюкал. И, не попрощавшись, отправился в деревню валким шагом, распахивая снег.

Явился Алмазов к Царю почти забытый, ушел — неузнанный, какой-то совсем чужой; зная, подменили поганые «америкосы».

Вот бросил человек выпивать — и не узнать совсем. Пожил в чужой земле, да еще, наверное, кровь перелили, когда в больнице дважды лежал... А может ли такое случиться? — неотчетливо представил Николай, рассеянным взглядом провожая друга. — Кровь-то не водица; евреи уверяют, что в крови растворена душа.

И снова посыпал снег, сначала робкий, мелкий, как манка, крупитчатый; глухая вязкая тишина обьяла мир, и скоро в березняках смеркло. Коля с охапкой поленьев возвратился в дом, затопил печурку. Тут и ветер откуда-то взялся, пламя в печи выгнало, полыхнуло в трубу, окна скоро залепило снегом. Метель поднялась, заподувала в стены, от порывов тревожно сбрыкивали в пазьях стеклины. Зима, что с неё взять? В такие часы от одиночества особенная тоска приступала к Царю, брала за горло.

Грустно жить на свете, господа! И скучно, и грустно, и некому руку подать...

С этой темной мыслью Царь заполз под овчину, угрелся, но спать опасался, пока не прогорит в печи. Вдруг крохотная головнюшка притаится в угольях и скоро захалеешь, напьёшься дарового винца. А кто хватится дурака, кто кинется на помощь, наладит спасение? Вот и лежал Коля, высунув нос из окуток, высматривая каких-то привычных привидений на смутном потолке... «Лампёшку бы запалить, — мысленно подталкивал себя, — чайник поставить. Совсем не ко времени залёг в берлогу. Да одному, вот беда, пить совсем неохота, чай в нутро не полезет... И керосину пустой перевод. Эх, сирота-сиротень, и не к кому тебе приткнуться, поплакать в жилетку, — сам себя зажалел Царь, и горькая мысль охотно повернулась в привычное русло. — И Дашка нос воротит, загадывает свои загадки, наверное, совсем не жаль бабе, что рядом человек на корню засыхает, некому увядшую травинку полить, дать живота; пусть и зряшный, совсем пустой и никчемный репей уцепился за землю, но ведь даже и скотинку жалко. Живая душа, приласкай, есть-пить подай... Горыне хорошо, он за веру уцепился и выполз к солнцу. Иль Господь руку подал, иль Зинка вытащила за вихры. Странная семейка — Пиросмани, у всех голова чуток набекрень, счастья в небесах наискивают. Вот и Горыня ко двору пришелся. Завязал с винищем, перестал драться и ходит нынче гоголем, не знает, куда деньги пихать».

В печи прощально пышкнуло, уголёк выстрелил из приоткрытой дверцы на пол и стал медленно коченеть. Неотчетливо подумалось Царю: «Водка без пива — один перевод денег... Если, конечно, они есть... Надо бы подняться, сделать обход». Царь прислушался. Где-то нервно взлаяла собачонка, может, за озером в деревне. Снег скоро завет все следы, время замозет жизнь человека и сотрёт его образ... Но что-то же остаётся от него? Сложный, мучительный сложный вопрос, на который нет ответа. А коли нет

внятного объяснения, жизнь теряет смысл. И Бог, наверное, не ответит, ибо, создавая всё живое, он не замыслил смерти, но обещал жизни вечной-бесконечной... А потом стало поздно, дьявол сел на облучок и давай погонять бесов... «Надо бы встать, призакрыть вьюшку и записать мысли. Мамушка-то не зря снилась: опасается за сына. А что сын? Сидит на бороду — бес в ребро. Водка без пива — перевод денег... Мог бы Алмазов хоть четвертинку принести. Богат, усы в мясной подливке, на пальце золотой перстень с черепом... Мама-то, бедная, бывало, уверяла сына: когда, Колюшка, у всех будет по две рубашки, только тогда и коммунизм наступит. У кого нет рубашки, тому свою отдай. Идёт, как на богомолье по святым местам: в руке корявая тростка, где-то по пути подхватила сушинку, головка маленькая, с кукишок, обтянута белым платочком. Куда мяса-то делись? Совсем изжилась, бедная. Ходячее несчастье. Мама, возьми с собою! — вскричал. — Запопутьем-то куда веселее!» — «Тебе ещё рано, сынок...» — ответила, не поворачивая головы.

...И вдруг туча над головою разверзлась, громы упали на землю, встряхнули до самой преисподней. Домишко пошатнулся на краю бездны — но устоял.

Царь очнулся от грохота, будто и не спал. С улицы притекал снежный свет. Полежал, прислушался, грохот не повторился. Наверное, дерево упало; всё кренилось, а под снегом и рухнуло; хорошо, хоть не на крышу. Чудеса в решете. Сразу бы на тот свет. Повернулся на другой бок, хотел снова забыться, досмотреть чудный сон, но помешал вой милицейских сирен. Словно свора дворных собак с цепи сорвалась и завязала потасовку.

Царь прошлепал к окнам, но стекла по верхнюю шибку залепило снегом. Накинул овчинную подергушку, сунул ноги в валенки, выскочил на улицу. Может, спастись пора, пришел конец света, о чём который день сулятся по «ящику». Дескать, осталась всего неделя жизни, ройте нору, запасайтесь консервой, солью и спичками.

Окружил избёнку, глазами отыскивая беду.

Возле усадьбы Мукосея толпилась милиция, прибились к забору машины с «мигалками».

Спросонья до Царя не сразу дошло, что под тяжестью выпавшего снега повалилась «пизанская» башня, творение «лучшего московского архитектора».

Глава шестая

Революции замысливают из прекрасной романтической мечты, из волшебной сказки о живой воде и молодильных яблоках, а заканчивают выгодой и ростовщическим процентом. Всё живое и искреннее сдают в ломбард, полагая со временем выкупить, и забывают о вечных ценностях; иль засовывают их в

затхлые кладовые, подальше с глаз, чтобы не давили душу совестливым, кого ещё не успели потравить дуством и прикопать в могильники минувшей истории. А покорных баранов стрижет каждый, кому достанет наглости и надуманных хозяйских прав, ловко при-своенных обманом и кознями.

Революция девяносто первого шла по Союзу наторенным путём, по старинному чертежу: потребовалось лишь внимательно прочитать мировые скрижали и библейские предания, где сквозь строки о братней любви проступало приворотное зелье дьявола. «Они придут видом наши, но будут не наши». Увы, всё сказано в Писании, предначертано и объяснено. И вот бродиво без присмотра хозяина в очередной раз выплеснулось из квашни и залило выбродившим тестом столицу с пригородками; подпольные деньги стонали, ворочались под спудом и, смущая душу, обещая рай земной, просились на волю. Скоро подпольные Паниковские стали Мукосеями, Шатровы — Балагановыми, сразу вылинял и припотух горворливый Горбачёв, сронил набок боевой гребень, и золото, что собирали криводушные ему на памятник в центре Москвы, куда-то припрятали иль, наверное, пошло на прикупы семье Ельциных. Плешивого друга мадам Тэтчер из Кремля немедля перевезли на американский авианосец; авось сгодится при игре как разменная монета. Михаил Сергеевич, этот клещ подпазушный, истиха вчинился в самое тело Советского Союза в начале восьмидесятых, отыкрялся под шкурою, и народившийся жадный молодняк, клацая безжалостными челюстями, пустился выгрызать даровые черные мяса государства.

Запятнанный кровью невинной жертвы «ставропольский механизатор», сотворив своё злое колдовское дело, удалился за океаны строить свою мировую церковь сатаны. Не случайно в народе прилепили ему прозвище — Миша Меченый. Это Горбачев, раскидывая словесные сети, ловко стер черту меж совестью и бесчестьем, разбудил злонравие, убрал переграды и засеки вселенской неправде и, всколыхнув пряные болотины (укривище змеиноного отродья), утер руки. И, дождавшись своего часа, полезли из провалищ и торфяных гибельных топей всякого разряда бесы и луканьки, а вместе с ними колдуны и ведьмы, прислужники нечистой силы, слетелись из таёжных урочищ и с Лысой Горы в городские каменные вавилоны, где правда тут же повенчалась с кривою, а лицемеры породнили Христа с дьяволом, навесив на рожки сатане венки прелестей из Содомы и Гоморры. Глумясь над Россией, бесы, с ухмылкою вещая о грядущем земном рае, широко расставя локти, уселись за хозяйский стол. Окаянные знали только, как делать деньги, и не смыслили в искусстве, принимая его за блажь, но, уставясь в ту сторону, где за-падает солнце, вдруг увидели, поначалу не поверив своим глазам, каких бешеных денег стоит авангард,

«квадратно-гнездовая» живопись супрематистов. Капиталисты — народ не глупый, не чета русским простофилям, умеют рубить бабки, знают, куда верно поместить нажиток, чтобы не протух, а значит, стоит складировать картины как сокровище, которое приносит прибыль куда большую, чем золото и алмазы. Кривые рожи Пикассо, «истерзанная человечья требушина» на холсте и фанере, как насмешка над образом Господа, оказывается, стоит у людей, помраченных дьяволом, пуды золота. Тут невольно воскликнешь, глядя на безумие, овладевшее человечеством: «Гоподи, прости и огради, не дай сойти с ума!»

И злополучный, давно забытый всеми «Черный квадрат», добытый из пыльных запасников, стал апостолом новой революции, затеянной новопередельцами, тем самым безжалостным топором мясника, которым и взялись ретиво рубить на полти национальную культуру, как свиную тушу.

Воистину: «Кому — война, а кому мать родна».

Рахманин бежал от живописи, закинув ящик с кистями и красками на подволоку, а слава, эта ветреная бабёнка, неожиданно догнала художника в затерянной деревеньке, когда Юрий Михайлович уже и не думал с нею свидеться. Если Бог всего лишь «точка», то что значит перед Ним мелкий одинокий человечек, безмолвно лежащий в пыли? Каким образом так притулиться к Господу, чтобы не прогнал? Хотя и говорят, дескать, нет в мире того греха, который бы не простил Господь, если искренне покаешься в содеянном. Умом можно рехнуться. Не потому ли стало так много свихнувшихся, утративших меру греха?

И церковь, которую затеял Рахманин, поистратив все силы, но заполучив хвори, бестолково ворочая брёвна, не складывалась в мечту, ехала нараскосяк, крестовик стал спорить, не совмещался со звездой Давида, и Точка потеряла своё царское место, переезжая из угла в угол, стороны света вдруг спутались, запад слился с востоком, и алтарь заблудился, не видя солнца, и стало непонятно, где выставить престол и вывесить колокола. Хотелось создать свой дом Бога, по своему уму, да лукашка всё нашептывал свои резоны, куда как далеко сталкивая Рахманина от православного храмостроения, где каждое бревнышко и досточка срослись в преданиях, будто рёбра природного здорового тела.

Да и кому, братцы, звонить, кого зазывать к молитовке, если Бог, убравшись в точку, разом утратил свой привлекательный купецкий вид: русую кудрю, приглаженную постыным маслицем, широкую, лопатой, бороду, васильковые распахнутые глаза, — умахнул, наверное, с «неба» в лесные чащи и где-то потерялся под еловой выскетью. Когда-то ещё, в какие времена разнесёт Его из точки снова во всю ширь и глубину вселенной... И картонка с замыслом храма, таким ясным поначалу, не только улетела за

тридцать земель в поисках любомудра, но и унесла с собою упругость мысли строителя и решимость дела. Рахманин как-то и не заметил, что его храм исподволь, словно бы в насмешку строителю, стал походить на Вавилонскую башню. Христос, наверное, подсмотрел за муками Рахманина и подвел суровый итог его невнятным трудам: «Этот человек начал строить, не вычислив издержек, и потому не мог закончить... И все видящие стали смеяться над ним». Вот и в Ижме судачат, перебивают костки строителю, с насмешкою склоняют имя художника, ожидая полной разрухи дела, но в помощи деревней не сбиваются, не желают потакать безумию Рахманина, нелепо, вызывая (как им кажется) восставшего против единого Творца и сына Его Иисуса. Дескать, Бог невидим бысть, но Он в каждой струйке воды, в каждой песчинке земного праха, и мы многожды, тружась, попираем Творца ступнями, лишаем Его видимой власти и, зная о том, погрязаем в гордыне. Если сам Бог под пятою, то кто тогда человек, рассекающий плоть Творца топором, когда валит в лесу дерево? Создатель мирволит человеку, ставит его вровень с собою — и вот тебе отплата... Нет бы отблагодарить — так гонят взащей.

Не так ли по сию пору смеются над строителями Вавилонской башни, утратившими всякое вразумление от гордыни и спеси, и оттого однажды повалилась она, сотрясая землю от края и до края, и многие народы онемели и обезязычились тогда, иные погибли от ужаса, не успев убежать.

Пришлось и верх Рахманиновой церкви раскатыть, и «восьмерик» разобрать, остался лишь нижний четверик. Брёвна на земле скоро замочило дождями, просквозило ветрами, пометило гнильцой и ржавью, закидало чертополошиной и крапивой, зазвистыми куртинками розового иван-чая; грустный Рахманин захаживал порою на потухшую стройку, похожую на плохо прикопанный скотомогильник, с обглоданными ветром и дождями костями великанов-мамонтов и беловежских зубров, нарывал охапку цветов, дома мелко рубил розовые султаны топориком, набивал в чугуны, парил в русской печи, пока не отдадут цветочный дух, потом крутил потемневшие листья через мясорубку, сушил зелье в тенёчке на краю лежанки. Чай из травки заваривался пахучий, по русской душе, сердце смирялось, отгаивало, «сердцебой», прежде угнетавший Рахманина, стал забываться, словно бы Христос через божественный напиток окормлял шаткого, обиженного человека своим духом. Мать-сыра земля как бы гостилась с Господом в избе Рахманина за самоваром с лавошными обливными баранками местной выпечки. Только Сын Божий отчего-то запаздывал, не подгадывал к столу.

Но однажды солнце заглянуло в хмурые окна Рахманина. Пришли с оказией вести, понадобилось вернуться в город, в покинутую мастерскую, где по-

чивали вечным сном покрытые пылью забения полотна. Оказалось, за океаном вдруг купили с чьей-то лёгкой руки его старые работы: «Бараны под дождём» и «Божье око». Кто сказал, что Бога нет? Вот, подсмотрел Христос одинокого, удрученного человека и протянул руку. Говорят же знаткие: достаточно веры с горчичное зерно, чтобы исполнились тайные мечтания; но мало бездельно тащиться за Господом следом, уповая на Его державу, надо и самому впрягаться в помощь Ему тащить крест страстей.

...Как-то неожиданно повстречался на улице Красных партизан бывший секретарь обкома Сухорученко. Костлявое лицо, под седыми хохлами бровей оловянные испытующие глаза выглядели с каким-то детским жалостливым любопытством. На голове та же черная шляпа с широкими полями, серый плащ коробом. Сундук с одеждой не подновляется — невольная примета близкого ухода, — мелькнуло в голове. — Всё, что бы ни натянул на плечи, отныне простительно старику; главное, ничто не гнетёт, кроме хворей; человека выделяют теперь на улице не бывшие заслуги, которые, увы, скоро тускнеют, не фронтовые ордена, а преклонные годы, подводящие к последней черте, — то, как несёт он свой возраст.

Рахманин смутился, сделал вид, что не заметил бывшего «гонителя», стал обходить боком-боком, пряча лицо, и уже миновал знакомого, но старик вдруг обернулся и бросился навстречу с объятиями, будто встретил своего фронтового друга, числившегося в покойниках, а тот вдруг объявился, по случаю сбежал с погоста. Обхватил, крепко прижал цепкими ручонками, как жук-скарабей, — и не отнять ведь от него, так плотно прилип. От Сухорученко обнесло затхлым, кладбищенским тленом, когда тот троекратно, по-русски, целовал Рахманина. «Помнишь, шесть-то сосков?! — вскричал Сухорученко, заговорщически подмигнув художнику, протянул: — Навёл тогда шуму, на-вёл! Сто лет прошло, а всё помню... Про-зорливец... Талант. Я тогда ещё заметил тебя, сказал себе: этот парень далеко пойдёт... А мог бы легко сгноить, стоптать — и уже никогда бы не поднялся... Те-те-те. Как на духу говорю. Но не сгноил ведь, Юрий Михайлович, не стоптал, а нашел работу на «Пролетарии», молодых мазилок учить, тянуть за уши к творчеству, чтоб от станка — к свету... Я помог. А те-то, ду-ра-ки, вставляли палки в колёса! Дескать, ничему доброму не научит, только с ума собьёт... А с ума нельзя сбить, ума можно набраться. Верно? Уж я на что старик, а всякую крупницу знаний со стороны впитываю. Вдруг сгодится, пока живой. Верно? Надо двигаться, надо вращаться в жизнь. Кто не двигается, тот обрастает мохом, они препятствие на дороге для всего нового. Люди не стальные болванки, которые надо точить да смазывать. И всё. Те-те-те...»

Рахманин отмалчивался, внезапно подобрев к Сухорученко, когда-то так напоминавшему серого

кардинала Суслова. Оказывается, душа-то живая. В церковь вот ходит, и нынче ставил свечку Божьей Матери Троиручице и бил поклоны. И тебя, говорит, невольно вспомнил, и Бога Шиву, и твою корову, Рахманин, с шестью сосцами. Будет время, приезжай к старику на дачу. О многом надо поговорить.

...В статьях имя авангардиста Рахманина подверстывали к примелькавшейся могучей кучке, созданной духом и волей Малевича, Шагала, Кандинского, Белютина, Зверева. Юрий Михайлович в восемьдесят девятом посетил на деньги «европейских мудрецов» Польшу, Германию, Францию; в Америке, на Брайтон-Бич ему устроили овацию, кричали, распахнувши объятия: «Рахманин, ты наш! Ты наш!» Рахманин не возражал, хотя он, выходец из древнего рода русских волхвов, никогда не был вхож в эти круги; да и фаршированная шука и форшмак на фуршете пришлось по вкусу. «Божье око» приобрел американский Конгресс и всадил под масонскую пирамиду на пятидолларовую купюру. Рахманин вернулся в Россию при капитале и славе, ему предложили секретарский стул в Союзе художников и звание «народного», о нём говорили как о явлении, новой звезде, вспыхнувшей на мировом небосводе, и если Малевич в девятьсот пятнадцатом своим «Черным квадратом», дерзко посмеявшись над Россией, пытался похоронить русское искусство, считая его тупиковым, добровольной домовиной, деревянным бушлатом, куда художники загнали себя и всё человечество, лишив его божественного откровения, то Рахманин ударом меча-кладенца якобы рассек железные полосы, запечатавшие гроб, распахнул дверь из могильной тьмы в райскую кушчу и пригласил жаждущих истинного искусства на трапезу к Отцу, Сыну и Святому Духу, испить чарку божественного нектара. Так или вроде того чирикали дамы бальзаковского возраста, далёкие от «умного делания».

...В Союзе художников на улице Клары Цеткин, в бревенчатом старом доме, на втором этаже Рахманин получил секретарскую комнату, где прежде хозяйничал Юдин Степан Андреевич.

«Боже мой! — мысленно невольно воскликнул Рахманин, входя в кабинет. — Давно ли покупали избу в Ижме, бродили на охоту, будто вчера вели бесконечные споры о роли искусства в России, а минула ведь пропасть времени, канули пятнадцать лет, которые не вернуть, как не вернуть бывшие словесные бури, тишину вечеряющей избы, горький дым деревенской баньки, мерный разговор реки, неожиданный сполох утиных крыл на медленно стекленеющем розовом закате, внезапный выстрел, раскатами катящийся по заполькам к чернеющему настороженному лесу...»

Всё вроде бы так банально, но отчего же так тоскотно сердцу, так запруживает комом в горле приступающая слезливая горечь... Годы перекечевали за перевал, а Рахманин в своём одиночестве и не заме-

тил, как они отгорели бесшумно, словно августовские зарницы, оставили цепенеть в одиночестве воспоминаний. Хотя память с годами становится решето, но она хранит золотые крупы минувшего, которые единственно и украшают быстротекущую жизнь. Кажется, не было суеты сует, жил лишь ожиданием грядущего дня, но оно, бесплодное, оказывается, и украло у художника судьбу и такое дорогое невозвратное время. Ну хорошо, вдруг заметили за бугром, воткнули в зауряд-список вслед за Малевичем, и в деревенские сени однажды вспорхнула кичливая девка по имени Слава, приоткрыла вкрадчиво дверь, с порога подмигнула Рахманину, вильнула крутыми податливыми лядвиями и тут же, испугавшись молчаливых сумерек избы, растерянно отступила в дождливый морок осенней улицы и пропала, как наваждение. Наверное, ошиблась дверью иль перепутала адрес. Помнится, кто-то однажды посетовал с обидой и сожалением: «Слава — ошипанная курица разового употребления». Пожалуй, точнее будет: «Слава — резиновая кукла «бордельного» пользования, которая охотно подстилается под каждого, кто заплатит». Обнаружилось, что нынче и таланта особого не надо, были бы поклончивые журналюги с бойким пером и «котлета зеленых».

Рахманин с порога окинул взглядом кабинет, больше похожий на монашескую келию с голыми стенами, ничем не напоминающими принадлежность к цеху художников, уже зная, что недолго засидится на секретарском месте. Как бы скрасила комнатку, наполнила смыслом даже крохотная иконка и огонёк лампадки, этот последний приют смятенного атеиста-романтика, мечтавшего о славянском братстве. Простенькие, в голубой цветочек, обои, письменный стол и пара стульев. Половицы визгловато простонали, когда Рахманин прошел к переднему простенку и тупо уставился в окно, разглядывая натопанную желтую дорогу с залысынами недавнего дождя, невольно упираясь в дальний конец улицы неистойой Клары Цеткин, где загадочно, тревожно и притягливо притаилось под густой розвесью плакучих берёз городское кладбище, куда горстка членов союза проводила покойное тело Юдина. И вдруг Рахманину так зажалелось о той давней неожиданной ссоре, пустой, но горячей, после которой отдалились бывшие друзья, как бы заохолодели друг к другу, и эту остылость уже не могли преодолеть. Юдина нет, и уже ничего нельзя изменить. Он сам себе накинул петлю на шею, и осталась лишь бумажка под стеклом, как назидание с того света. Сам сочинял иль выписывал чужие мудрые мысли, которые могли бы помочь, но негодились, а может, они и подтолкнули к самоубийству.

«Всё проходит, остаётся только усталость».

«И нажитые знания, которые прикапливал всю жизнь, неотвратимо покидают, и ничего от них не

остаётся, кроме грустного ощущения напрасно прожитой жизни».

«И память, которой гордился прежде, неумолимо превращается в решето, а женщины, которых любил, в молчаливые тени».

Только мягкий, застенчивый человек, не израсходованный творчески, так и не подпустивший к себе Бога, мог написать подобное: «Засохший букет никогда не распустится». Эх, если бы Юдин знал, внезапно потеряв жену, что «без воли Господа и волос не упадёт с головы», приноровился бы к новой жизни.

А ведь было Степану Андреевичу указание выше. Коля-Царь рассказывал, как однажды случайно встретил Юдина, и художник вдруг открылся: дескать, знал бы ты, Николай, как трудно снова жениться; почти невозможно отыскать женщину, которая бы прильнула к сердцу, вытеснила из него умершую жену, которая и по смерти хозяйнует, не дает воли, постоянно напоминая о себе. Аделаида любила розы, обычно засохший букет пускала вниз по воде, но в последний раз отчего-то поленилась спуститься к реке, и увядшие цветы остались в хрустальной вазе, вечерами отражались в посиневшем окне, как живые. Аделаиду похоронили, но на сороковой день цветы вдруг очнулись и расцвели — две бордовые розы с черными прожилками в сердечке, но уже без запаха, без шелкового отлива на лепестках, как бы изваянные из камня.

Список, составленный невеждами, отравлял Рахманину жизнь: его приписали к «роте мертвецов», у которых не было ни вкуса, ни меры, ни страсти, ни мысли, ни природного чувства, ни дыхания земли, ни долга, ни Бога. Скинулись под сатану, а делают вид, что живут под Богом. Рахманин не хотел быть в авангарде, встраиваться в шеренгу последователей, командовать искусством с маузером на боку...

Но за какие вины приписали Рахманина к маляру Малевичу, беззастенчиво укравшему «черный квадрат» у французского живописца Альфонса Алле, — один Бог знает. Наверное, страшно завистливый был этот Казимир: понимал, что не стать ему ни Айвазовским, ни Врубелем, ни Левитаном, а славы-то хочется, братцы, а талантишку-то с гулькин нос, и сердце вскипает от одной мысли, что дело — труба, зароят в землю, словно тухлый овощ, скиснешь в почве, изойдёшь на перегной — и будто не являлся на свет. Вроде и души-то нет, всё выдумки замшелых попов, но что-то невольно так замлеет, замглит под сердцем, такие свирепые кошки начнут скрестись в груди... Это терзает замшелую душу непотребная зависть. «Черный квадрат» Малевича — это черный кот всепоглощающей зависти, в которой не хочется признаться самому себе. Зависть замутила, заживо заела человека; нет таланта, но появилась власть. Знали бы вы, несчастные, как желанно попить чужую волю более способных в искусстве, отме-

ченных божьим перстом людей, имея на то власть, разглядывать «жалконьких людишек» сквозь прицел маузера. И вот перехватили в семнадцатом власть «ничевоки» и всякая бродячая сволочь, и Малевич, получив руководство над художниками, навесил к поясу маузер в деревянной кобуре, а экзекуцию над русским искусством самодовольно оформил сумбурными словесными упражнениями, больше похожими на революционный приговор чекистских прохвостов: «Расстрелять... повесить... утопить с камнем на шее». Бога нет, и всё позволено... Прошное для супрематистов — это камень на шее: если не сбросить его, то утонешь в переживаниях иль споткнешься о придорожный камень, заглядевшись на красоту пейзажа, и на этом закончишь путь в будущее. Красота поглощает впечатлительного человека всего, делает его мягким, как талый воск, добродетельным и доверчивым, и, чтобы не потеряться в безвестности, в галдящей толпе, пересилить её гомон, подняться над нею и властно усесться на облучок, надо так неистово, неожиданно выплеснуть своё слово, чтобы от больного, безумного вскрика упоённый красотой совестный народ очнулся и с подозрением, изумлением вгляделся в этого шелкопёра и наглеца, что нарушил единство с природой... Ведь наглость — это не только черта характера, но и целая поведенческая наука с философской подкладкой, когда черное выдаётся за белое; она живёт в брачном союзе с бесстыдством. Где стыда нет, там нет и совести; а где молчит совесть, там Бог прячет всевидящий укорливый взгляд, попуская хамоватому бездушному человеку, чтобы он падал в смрад провалища...

«Футуристы отвергли академическую трупарию, — писал Малевич, — и выбросили за борт старую беззубую логику, которая висела на крючках естественных законов. Каждый закон имеет своё время, свою совесть, свою логику, и когда он устареет, его нужно — необходимо выбросить... Наша жизнь богаче. И след наш не должен затеряться в имитации, подражании, подделке прошлому... Прошлое должно служить лишь для того, чтобы не быть повторенным... Теперь мы можем свободно вздохнуть и творить новые знаки. Знаки происходят от нас, а не мы от знаков».

Стоит внимательнее вчитаться — и в глаза лезут фальшь, недомыслие и самоуверенная наглость недоучки, поднахватавшегося словесных очистков в питерских богемных кабаках. Так хотелось схватить Бога за шиворот и потаскать в подворотне за бороду. Естественные законы неподвластны человеку, они не устаревают, как бы того хотелось бездельникам от искусства, страдающим склерозом души, и существуют своим незыблемым порядком, по своей природной мере и чувству своей потаённой от человека жизни, которую нам не понять умом, не проникнуть в её сердцевину, но оттенки и отголоски которой мы

приспосабливаем себе лишь по своей развитости и страху перед непостижимым. Только тем и спасаемся, пока не разрушим, не оскверним окончательно почву. Природные законы не в наших силах выбросить на свалку истории, невозможно пренебречь ими, ибо, потеряв разумные связи с землей-матерью, человечество неизбежно превращается в труху и в ходячие гробы повапленные. Естественные законы не устаревают, не поддаются переделке, в них заложена бытийная мера, природная нравственность и совесть, через которые народ неизбежно повязан с Богом, порою не признаваясь себе в этом. Устаревают лишь человеческие законы, призванные разделять, подавлять и унижать, подвластные эгоизму, гордыне, властолюбию и честолюбию, но лишённые любви к ближнему, состраданию к несчастному; и, чем дальше они по своей сущности от Божьих заветов и природных основ, тем быстрее истлевают и превращаются в ту самую «трупарию», в тугой хомут, натирающий холку народа до струпов, который хочется немедленно сбросить с шеи и заменить... Отсюда и отчаяние, и стихийный бунт, и революция. А естественные знаки и путеводительные символы, которые многожды пытались стереть, задуть и согнать с небосвода спесивые воины преисподней ещё задолго до «Малевича и К°», — это природные неуничтожимые символы, данные в истоке времен от Бога и самим Богом как Творцом всего сущего. Знаки же, сотворенные обществом и властью в порыве перемен, истлевают во времени одного поколения, редко когда переживая столетие. И потому художники с таким тщанием в тысячный раз списывают на холсты живые пейзажи во все времена года, ибо хотят взглядом проникнуть в саму красоту материализма и отыскать самого Бога, ибо без Него не могло бы сотвориться такое одухотворенное слияние красок, невольно поражающих душу, вызывающих любовование, томление, изумление и смирение.

«Человечье стадо, увы, поклоняется иль Богу, иль козлищу, но ему всегда необходима икона, — внушал Рахманин. — «Черный квадрат» и стал такой иконой для безбожников авангардистов, которая знаменует собою наступающую мерзость запустения, уничтожение красоты через попрание всего любовного и нежного. Казимир Малевич самонадеянно возмечтал разрушить материю, цвет, гармонию, форму, божественность природы, а для меня, Рахманина, как живописца, занятого сотворением вместе с Господом, под его волею, главное — дух, сознание, ощущение себя как Божьего сына, моё желание незримое сделать зримым... Это сверхзадача, стезя подвига посреди мрака, который надо победить светом. Картина рождается от переполненности мыслью и духом, это результат какой-то новой самостоятельной формы, которой заблеивает художник и вынашивает в себе, как женщина вылепливает в себе мечтание. Ребёнок напоминает

мать лишь внешне, но это уже совсем другой человек, неясное воплощение тех задумок, которые лелеяла мать, когда вскармливала плод ещё в чреве. Она ведь думала не только и не столько о том ребёнке, который вынырнет из утробы, она его представляла в общих чертах, как дитя человеческое, но больше о будущем его, каким он станет лет через двадцать — тридцать. Примерно так же происходит в художнике процесс творения и сотворения. Получается, что надо мысль поместить в самостоятельную картину, как семя сознания, чтобы она ожила и чтобы чувства твои передала другому сознанию и произвела свою работу по перестройке дремлющего духа. И мука эта длится месяцами, иногда годами, картина растёт, живёт втайне до своей зрелости, художник не представляет её ясно во всей полноте. Сладкая мука. Но мука... Картина ещё не в холсте, её как бы нет. Она — призрак, она — неясное мечтание и сновидение. Считается, что художник пишет картину, а я глубоко убеждён, что это картина пишет нас, а не мы её. Картина формирует художника, идёт тонкая проработка духовным скальпелем, когда удаляется всё лишнее, грубое, приземленное, животное. Потому внутреннего человека никто во всей полноте не знает, это незавершенное создание, его строительство идёт до последних дней, и до последней минуты он сближается с Богом. Так же и картина, которую живописец видит в воображении, её, как таковой, в природе нет. Не стоит копировать природу, тем самым умертвляя её, проще войти в неё и насладиться живой. И с этой стороны я вроде бы близок к Малевичу. Но он отвергает главное в самой сущности живописца как неординарной личности, способной вести массы за собою: мысль, сознание, дух, Бога как центральное в искусстве, то, что надо передать зрителю... Я не хочу быть рядом с Малевичем, этим клоуном из провинциального балагана, которого либеральные фокусники, насмехаясь над русским человеком, втащили с площади на петербургскую сцену, решили из шута сотворить мыслителя-философа... глашатая и пророка грядущей революции, не сознавая, сколько несчастного, безвинного народа будет вскорости возложено на жертвенник сатаны. Это бомбовая пушка для обрушения русского православия, выставленная предателями внутри крепости.

«Вы понимаете меня? — горячо, напористо вбивал Рахманин слушателям школы-студии свои сбивчивые мысли, выношенные за годы затвора в деревне Ижме, в которых и сам мучительно шатался, сбиваясь на узелки и петельки, не в силах свести спрятанные концы. — Друзья мои, картины «супрематистов» — это накладные расчетливого бухгалтера, в которых спрятаны воровские махинации с надеждою нажиться на ловкости рук и мошенничестве. Там душа, любовь к Отечеству отданы в заклад ростовщику. А там, где правят бал наглость и бесстыдство ростовщика, там нет Бога, а значит, нет и Духа,

и Сына Божьего, вызывающего в человеке сладкие спасительные сновидения. Ведь сила картины не столько в цвете, сюжете и подобию, сколько в мысли, живущей на полотне и находящей послушное сердце. Если при взгляде на картину начинает болеть сердце и учащается его биение, значит, дух живописца, его надсознание достучалось до сердца зрителя и захватило его. Значит, искусство выполнило свою роль сердцеда, душеведа и мыслетворца, побудило познать сокровенное и сокровенное. Вибрация сердца вовсе не означает болезнь его, это душевное возбуждение, которое поновляет остывающего внутри человека и призывает к нему Бога... Труд художника — это не стяжание славы, а стяжание духа, это стояние в молитве; картина — ваша церковь и ваше Евангелие, куда вступают посвященные и призванные волнением сердца, его вибрацией, интуицией, чтобы спастись».

Рахманин — советский «волхв», вынырнувший из древности, как вешка долгой русской истории с дохристианской поры, чудом избежавший ареста и ссылки, напоминал молодым о воле и свободе, уже полузабытых в России со времён Петра Первого; учил, как в государстве посреди равнодушия, черствости, казенного регламента и нормы, слышать Бога, видеть Его в родных немеркнущих чертах, отыскивать Его в толпе посреди житейской суеты, сверяться с Ним ежедень в каждом малом деле и поступать по-божески. «Если видите, — говорил, — что нельзя изменить то, куда вас направляют против воли, то временно отступитесь, замкнитесь в себе, чтобы в бесмысленной суете не потерять внутреннюю гармонию сердца и души, а положиться на Бога; лучше пусть всё идёт своим чередом, чем бороться за улучшение дела, напрасно тратить силы, глупо, под оглашенный смех толпы биться лбом в стену; главное — не потворствовать злу, которое вершится на ваших глазах. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»».

Однажды Рахманина пригласили в Комитет, и следовательно спросил: «Юрий Михайлович, отчего ваши слушатели не занимаются живописью, а идут в попы? Это что, агитация против Советской власти? Вы создали диссидентский закрытый клуб с православным монархическим уклоном?» — «Но что я могу поделывать, если к ним приходит Бог, без которого они уже не могут жить. А запретить служение Господу не в моей власти». — «Как знаете... Но я предупреждаю. Вы создали секту и, как наставник, мыслями «о надсознании», что выше советских законов, дурно влияете на молодежь, сбиваете её с реальной жизни в затхлый мистический тупик, в болото, в гниение и бесплодное унылое существование в будущем, а значит, на конфликт с обществом. Задача государства — наставить вас на ум, найти консенсус между частным и общим. А вы вставляете палки в колёса и к тому же подзуживаете молодых отстраняться от обще-

го дела созидания. Наш вам совет: отправляйтесь-ка к себе в деревню и постарайтесь реже появляться в городе. Для вашей же пользы...»

Слава, едва коснувшись Рахманина, скоро попри-
тухла, да и новый авангард, куда приписали живо-
писца по разнарядке из столицы, оказался мерзопакостен и бездарен, искусство заменили обезьяньим кривлянием в самой сволочной манере; бесстыдство и луженая наглая глотка заменили «ничевоку» даже крохотные творческие способности. Но и традиционалисты, «пластовцы и саврасовцы», не помягчили к Рахманину, действовали подкопом, истиха, распускали сплетни о душевной порче и невменяемости Рахманина, говорили, что его завербовали в «пятую колонну» и он создаёт в стране церковь сатаны, что он, гордец, презирает родину и Бога, что по приезде из США ему «стукнуло в голову» и он не желает ни с кем знаться, что его скоро отвезут на Белую Гору, в психушку, на постоянное проживание, и там будто бы для секретаря Союза художников уже освободили отдельную палату с охраной при двери, чтобы не бродил где попало и не распускал слухи о дьявольской сущности Горбачёва, и не внушал несчастным обывателям и постояльцам богадельни вредные теории «о вибрации сердца и надсознании».

...Никому не доложившись, Рахманин закрыл мастерскую и отбыл в деревню, оставив на двери красноречивое послание: «Не ищите. Исчез навсегда!» Он оставался чужим для всех: независимым, нетерпимым, едким и склочным. Так казалось скучным, внутренне износившимся собратям по цеху. А меняться, приноравливаться к людям, неожиданно прильнувшему ко кресту и мамоне, душе претило. Да и постоянно томил в снах неоконченный храм и вещим человеческим голосом сулил заковать в ямку, если не исполнит обет. Рахманин загонял брёвна в пазы, выставлял по отвесу углы, вырубая чашки, но только спускался с подмостей на землю, весело по-
прыгивая от исправной работы, как стена прямо на глазах осыпалась, словно карточный домик от внезапного вихря, с плачем и стоном проносящегося над кладбищем. И снова по покатам, как муравей, втаскивал Рахманин брёвна, буравом сверлил дыры, забивал нагель, полагая, что это крепление навечно и никакие ветра дурного времени его не пошатнут.

Искренние слова при искреннем общении позволяют улавливать глубоко спрятанного внутреннего человека, которого пугались, стеснялись, не решались выдать на рассмотрение, особенно в те недавние годы, когда боялись громко сказать о наблевшем, письма пересылали с хорошо проверенными нарочными или через тайные схороны; так Верочке Нарочницкой переслали лекцию Рахманина запечатанной с обратной стороны иконы. И вдруг неожиданно пришло время, когда отпала нужда скрываться, многие охотно разделись донага, хвастаясь своими

ущербными, поистраченными телесами и нажитыми пороками, которых когда-то стыдились (или вынуждены были стыдиться); всё тайное объявилось своим настоящим лицом, доносчики, осведомители и вообще народ гнусной породы, двурушники и лицемеры стали людьми почтенными, правдолюбам и борцами с режимом, а иные ловко, беззастенчиво прислонились к сулее с толстой свечой, чтобы иерей заметил во время проповеди и запомнил как моельника верного, из тех почтенных прихожан, которые могут одарить мздою. Церковь по своему назначению не может быть мздоимцем, но, стиснув душу, привечает ростовщика, ловыгу и барышника из того лишь практического расчета, что храму как живому дому Христа тоже надо жить, надо выправить ризы, подновить паникадила и образа, укрепить покосившиеся углы, перекрыть крышу, да там ещё и жалование служакам и деньги на трапезы для бедного люда найти — и вообще всё церковное убранство требует больших затрат. И как бы православие ни боролось со златом, как бы ни гнало метлою менял из храма, без приноса молящихся церковь просто рухнет в каткомбы, утратив свою божественную красоту, столь приманчивую для нововера.

Ученики Рахманина, приняв сан, отъехали в провинцию и замолкли, затворились в отдаленных краях, затеяв новое крещение Руси. Девушки выскочили замуж и, обремененные семьёй, пожухли в семейных заботах, лишь редкими письмами к Рахманину укрепляя душу, подживляя трепетный огонёк исканий. И когда на улице дождь бусит день и ночь, когда вся природа всклень налита водою и напитавшаяся земля не пускает человека за деревенскую околицу, в ближние моховые боры, где грибы размякли и поехали на один бок, ягоды разжились до киселя, а река наполнилась до краев, остаётся, пожалуй, одно душевное удовольствие: жарко натопить печь и в волнах дровяного ласкового тепла, забравшегося во все углы избы, заняться домашним хозяйством, что-то починивать с иглою или молотком, уряживать, штопать протори и прорехи, которых так много скапливается истиха, если не наблюдать дом. А без жены и вдвойне морокотно, весь быт ложится на одни плечи. Дашка, дура, затаилась и не кажет носа с другого конца деревни, но, по слухам, что донесли из продуктовой лавки, Дарья Ивановна, не мешкая долго, выскочила замуж за Царя.

Вот те на, — удивлялся Рахманин ловкости жены, — ещё недавняя семейная колготня не заросла быльём, ещё свербит соль на ранах, а эта медведица, не перетащив из боковушки всего своего имения, сбежалась с приятелем мужа. Знать, крепко щекочет бабу плодящее место, не совладать. Вот и зови её после этого лапушкой, соловушкой, пташкой небесной, что свила гнездо в куще над рекою, а скрепить слюной не додумала... Дунул вихорёк — и свалилось

гнёздышко на землю, просыпав яички. А ему, Рахманину, разве легко, ведь не монастырский служка и не монах-скитник, не бегун и не скрытник, а живой человек, у которого мужицкая сила гудом гудит по всему телу и порою так трудно совладать с нею; это бесы играют на телесных жилах, тешат свою окаянную натуру. А одиночество, скрытная жизнь в затворе лишь на руку нечистой силе. Нет, не быть Рахманину келейным монахом, слишком чувственная натура и никак не укротить её; но, чтобы священником стать, надо жену иметь пристойную, не блудную, услужливую и податливую, работающую и плодящую русскую бабу, которая вместе с мужем и церковь примет в свой дом со всем жаром жалостливого сердца.

Досадовал Рахманин, что забыть не может Дарью; вроде бы сбежались случайно, второпях, сняв с любовного топленого молока жирную пенку, а вскоре и расстались просто, без истерик; но со временем стали накатывать на ум памятные мгновения и давай терзать сердце. Всё он, дьявол, мутит, не даёт ночами покоя, топорщит плоть... Можно бы, конечно, подстеречь Дашу на улице, ведь не на другой планете живёт, а в нижнем конце той же улицы, иль завернуть в избу Пиросмани, якобы по неотложному делу, верный случай всегда сыщется, — да нынче обжился там Горыня Алмазов с семьей, и видеть этого самодовольного жирного барсука, приплывшего из Америки, — сплошная изжога. В такие минуты неприкаянности, когда в избе натоплено, а за окнами дождь бусит, так хорошо перебраться словом с родным человечком, побарывая тоску, а если нет собеседника, то пошляться по избе, заново вспоминая полузабытые углы, пошариться по кутам, шкапам и сундукам, пошерстить холсты, занесенные в верхнюю светёлку, покрытые пылью забвения.

Рахманин открыл дверь в боковушку. Пахло сырьем, нежитью, кто-то заверещал гнусаво, занялся в полусумраке чулана, кинулся под кровать, зашуршал обоями. Другие теперь хозяйничали в комнате, вели свою справу, свою обрядню. Забытые Дашей куклы-сироты закружились на нитях от сквозняка, как висельники в петлях, чередой потянулись на выход, им тоже осточертело одиночество. Прямо от порога Рахманин подхватил мужичка в полосатых плисовых шальварах, с черной кудлатой бородой и цыганистыми глазами. Присмотрелся к тряпочной голове языческого божка и вдруг признал себя. Следом ткнулась в губы присадистая плотная баба с румянцем во всю щеку, курносая, востроглазая, с косяю, уложенной кренделем. Цветастый колокол юбки мазнул Рахманина по щеке. Поймал молодку, не дал сбежать в полые двери. Узнал Дарью Ивановну и невольно смутился, унюхав её потный дразнящий дух, хлебный, ествяный, жаркий, тот самый сытный аромат, что идёт от караваев, только что вытнутого из русской печи.

Неожиданное сравнение ему понравилось. Вдруг пожалел, что не написал Дашу в первую пору знакомства, когда девица ещё не открыта вполне и много таит в себе крохотных тайн, которые и держат женщину в особину не только покровом лица и тела, но и повадками, особенным внутренним смыслом и ладом.

«Ну что, Юрий Михайлович, проспал? — невольно воскликнул Рахманин. — Ведь была готовая попадья... Хотя сразу под венец. А сейчас поди, укуси, зубов не хватит. И на поклоны опоздал: прости-де, Дашенька, вскружил голову морок, а душу опоила гордыня. Не хватило смирения, чтобы подладиться под бабий норов. Да и невольная мысль досадила: не ровня, де, деревенского рукоделия, из простой квашонки тесто. Ага, а сам-то кто, не из тех ли самых ржаных хлебов окраек? Эх, Юрий Михайлович, упустил божий подарок. Так она тебе и простит, скажет: я занятая... Напрасно возомнил о себе, Рахманин, черт знает что: мол, кум королю, сват министру, по границам наездился, вкусно ел да сладко пил, руки целовал капризным барышням, вот и обнесло ум...»

Рахманин включил свет, будто отыскивая приметы бабьей измены, внимательно осмотрел закуток, сквозь ряды назойливых пыльных тряпичных кукол, сквозь пряный запах бревенчатых стен протиснулся в дальний угол и на ворохах цветного лоскутья вдруг обнаружил старинный сундучок-подголовник, оставшийся ещё от прежних хозяев. Прежде шатун стоял в переднем углу под образами, Рахманин складывал туда почту, а когда смакивал сон, то умищивал под затылок вместо подушки. Собственно, для этой цели он и назначался в старину, в подголовнике хозяин хранил самое дорогое для него, чтобы было под присмотром. Русский быт забывался, уходил в предание, а вместе с ним терялись в прошлом и существенные детали обихода, без чего нельзя было обойтись. В подголовнике под замком берегли деньги, ценные бумаги, письма; на одной стороне была вырезана, довольно старательно, лобастая башка медведя — лесного батьки, на другой — голова лося в короне ветвистых рогов. Рахманин опустился на кровать, открыл ящик, достал пачку писем. Догадался: из любопытства иль из ревности Даша сунула нос в чужие бумаги. Верхнее письмо было от Гали Распутиной. Рахманин ловчее растянулся на перине, вынул листки из конверта, понюхал, как дознаватель при обыске; бумаги пахли ладаном и воском. Галя, тощеватая, раздумчивая особа с изгибистыми черными бровями и супистым мрачноватым взглядом, была родом с Пинеги, с тех самых мест, где начинал свою святительскую службу Иоанн Кронштадтский, любила задавать «вредные» вопросы, на которые никто на свете не знал ответа: «Если Бог есть, и Он, как уверяют свидетели, ходил по водам, то что ему мешает спуститься с тверди небесной? Хотя бы дал знак или уведомление, что есть и готов быть на зем-

ле в любое время, а не ждать Судного дня, ибо может опоздать и судить будет уже некого». — «Если Он не приходит, значит, плохо зовём или ещё не так несчастны и убиты ожиданием, чтобы ответить за грехи», — отбивался Рахманин, не чувствуя крепости своих слов.

Письмо было писано на твёрдой бумаге и разными чернилами, какие привелись под руку.

«Здравствуй, дорогой Юра. Я много размышляла о твоих взаимоотношениях с нами, твоими учениками. И вот что я надумала. Хотелось бы мне этим письмом немного облегчить твою тяжесть (не исключая, что напрасно), будто скажу тебе нечто новое.

У меня всегда так: сначала рождается вопрос. Он может застрять в голове на годы. Если есть возможность, копаюсь в каталогах, справочниках и т.д. А если нет, то попадаются не в таких уж редких книгах слова, фразы, факты, а потом, оторванная надолго от всех библиотек, всё думаю под шум бегущей воды, под шипение сковородок и кастрюль, под детский плач, а потом из ничего что-то получается, какой-то ответ, возможно, самый поверхностный.

Попробую преодолеть эту цепочку объяснений. Всё началось с исихазма; что такое, откуда взялось? Вот Григорий Синаит. Был молодой монах, ищущий, пытливый, его мы знаем (жизне, а помимо этого тома написаны). А вот о монахе по имени Афанасий, у которого он остановился однажды переночевать, не знаем ничего, он не канонизирован. Выслушал старец молодого монаха: «Ах вот что ты ищешь? Святые отцы называли это умной молитвой, умным деланием». И научил. За одну ночь. Утром ушел Синаит и стал учить афонских монахов тому, что открыл ему старец Афанасий. Это единственный случай, потому что других учили годами. Что же произошло в ту единственную ночь? И почему другие, например молодой Амвросий, годами ходили к старцам учиться? Что происходило в эти годы? Что было результатом, когда старцы отпускали своих учеников к самостоятельной умной молитве?

Я понимаю это так. Старцы знали, что человек не в состоянии сразу правильно распознавать и отличать «да» от «нет». Если разрешить ученику жить согласно словесному, молитвенному пониманию, то скорей всего толкнешь его на путь греха: перепутает он своё желание с должным «по Богу». Потому надо было учить понимать своё сердце, решение ученика проверять своим молитвенным опытом. Вот и ходили молодые монахи к своим старцам с каждой мелочью, опять же как, например, молодой Амвросий, различать ощущения с «да» и «нет», связанные с кругом людей, окружающих тебя. Это, пожалуй, сейчас и моя самая главная проблема: тысячи ощущений в сердце, почках, промежности, костях... Я расспрашивала друзей потихоньку, между прочим, существует ли для них проблема классификации такого

рода ощущений. И не нашла. Видимо, я излишне педантична и рассудочна.

Но вернемся к старцам и их ученикам. Продолжительность их обучения говорит об опасности того пути, на который старец подвигает своего ученика, не объяснив всех тонкостей, до самых мелочей. Ведь ученик, обладая мощным молитвенным зарядом, начнет творить противное Богу. Это вред и себе и другим. Размышления об этом натолкнули меня на другую особенность знаменитых исихастов. У них не было учеников в миру. Не ошибаюсь ли я? К старцам приходили за решением своих житейских проблем, для исповеди, беседы, приходили часто, жила в монастырях подолгу. Но старцы не разрешали делать то, что делали сами. Что это — запрет? Или понимание того, что в миру невозможно не оступиться, не сбиться «да» и «нет»? Кстати, на моей памяти есть только одна книга «об умном делании», написанная византийским монахом в XIV веке специально для мирян.

А теперь самая трудная часть моего письма. О тебе. Самое обидное для меня будет, если ты рассмеёшься. Если обругаешь или скажешь, что лгунья и т.п., не обижусь. Всё ли правильно в твоём основном, столь нужном нам в жизни призыве: «Проверяй всё, и ты будешь знать, ты будешь права». Думаю, не всё в нём правильно. Ты не имеешь возможности (временной, пространственной, будничной) обучить так, как учили прежде. И мы обречены на ошибки: 99 промахов при одном попадании — таково соотношение. Дальнейший путь связан с поиском сочетания этой уверенности (помолюсь, спрошу себя, пойму) со страхом Божиим. Однако это одна дорога: церковная жизнь притянет будущее необходимое... Я малость запуталась. Скажу лишь вот ещё что. Ведь, с другой стороны, ты прав. Задача, как ни странно, должна быть максималистски огромной. А то, что дальнейшее на пути церковной жизни притягивает недостающее, доказывает правоту первоначальной установки. Григорию Синаиту было легче. Он был святой и, почувствовав эту его потенциальную святость, старец Афанасий отпустил его утром — отпустил тайну, которая вошла с ним в монашество. Видимо, разрешение сделать её достоянием более широкого круга было получено именно в ту ночь.

А я многое всё-таки не договорила. Вопрос этот (ты и мы) очень сложный. Этим летом в нём запуталась Татьяна....»

Рахманин покрутил письмо, стараясь вспомнить ученицу подробнее, в тех мелких частностях, которые приоткрывают человека. Видом начетчица, наставница из раскольников с кита. Только бы ей черный плат на голову в распущ. Пропадает на годы с глаз, потом вдруг объявит о себе письмом с покаянной просьбой простить за молчание, уверениями в жертвенной готовности идти следом.

Неутоленные книжные барышни, нацеленные самой судьбой к доброму поступку, — но все намерения разбиваются о будни, семейный быт, а душу постоянно гложет неисполненность Божьего замысла, с каким вступала в мир; плотское забивает, потушает духовное, и все те юные мечтания, чем выстраивала будущее, тихо выгорают в буднях, и остаётся лишь кисловатый запах гари на пепелище замыслов. Они умны и честны перед собою и окружающими, но лишены честолюбия, ведут себя как серые домовые мышки, потому их никто не хочет понять, и они, боясь совершенно погрязнуть в суетных повседневных заботах, невольно отыскивают наставника, учителя, который бы выслушал и проникнулся сокровенным; хорошо, если не наткнутся на проходимца, ловца душ. Они не инфантильны, крепкой породы, они сострадательны и деятельны, но их добрые поступки никому не нужны, и они постепенно погружаются в мерное угасание и засыпают с непонятной тоской на сердце, которую уже никогда не изжить, хотя жизненная стезя вроде бы так удачно сложилась. Эти городские книжные барышни всегда на грани нервного срыва, будущие пациентки Белой Горы, и к Богу они приклоняются со стеснением лишь для того, чтобы Он выслушал, утешил и тем укрепил сердце для непонятого подвига; Господь не только наставник, а ещё и нерастроченный мужик, которым можно увлечься. Они не догадываются, что Бог внутри, а не вовне, и потому Он вездесущ, зорок и строг и требует ответа за всякую мелкую промашку. Ибо имя этого Бога — сама совесть.

Рахманин сунул руку в подголовник, едва приоткрыв крышку, будто вытягивал счастливый билет, и достал письмо от Тани Гозман. Таню он знал хорошо, был с нею в частой переписке, женщина-подросток, худенькая, постыного вида, с огромными серыми глазами в пол-лица, курносая, с пепельными волосами в мелкую кудряшку. Рахманин, наверное, мог бы ею увлечься, и она тянулась навстречу, но у неё было двое детей, солидный муж Гозман с телевидения, с тонзуркой на темени, весёлый, дружелюбный, и Рахманин сразу пресёк всякие поползновения, которые и приводят ко греху прелюбодеяния.

«Юрий Михайлович, ещё раз здравствуйте. Надеюсь, не забыли меня? И чтобы не забыли, надоедаю вам своими письмами, ибо дорожу вашим учительством, укрепляющим во мне меня. Хочу рассказать о событии в нашем доме. Но сначала небольшое вступление из прошлого.

Когда меня в первый раз привезла к тебе Марина, ты говорил мне о вибрации, интуиции в сердце, а я ничего не поняла, потому что не почувствовала. Новые ощущения у меня появились только после второго моего приезда в Ижму осенью прошлого года. Я почувствовала их болью в сердце при встрече с некоторыми людьми, в столкновении с некоторыми

событиями. Короче: всё началось с крика, который наконец был услышан, а потом нужно было учиться различать и вполне спокойный голос, и шепот. Правда, и сейчас мирное «да» или «нет» часто не различаю. Чем дальше, тем больше становится у меня этой сердечной боли. Так ведь не у всех это бывает; например, у Нины Шаповаловой сердце не болит. А с другой стороны — вспоминаю фрагменты из книжки «О молитве Иисусовой», кто автор, не помню, «о болячке в сердце».

Мужу я много про эти свои ощущения рассказываю, конечно не упоминая тебя. Он слушает с интересом, опустив глаза, и верит этому моему опыту, как он верит и удивляется моим снам. И вот вчера вечером тянусь я на какую-то полку и вдруг слышу сзади его голос: «Ты знаешь, я начал чувствовать своё сердце». Я так и застыла с протянутой рукой. По его словам, вчера, когда он читал публикацию в журнале «Смена» (Смешно? А мне нет), у него сдавило сердце. Речь в статье шла о распродаже рус. худ. сокровищ в тридцатых годах. Он у меня хорошо знает живопись, Эрмитаж — наизусть. Может рассказать, где какая картина висит. Я вообще крепка к разоблачительным публикациям эпохи перестройки, но страшнее этой статьи я материалов такого рода не читывала. На следующий день я дала ему почитать «Известия» с интервью Ильи Глазунова. Муж прочитал, и у него снова сдавило сердце. Он спрашивает меня: «Таня, а может, быть я скоро сердечником стану?» Я ему рассказала, как отличить чувство сердца от сердечной боли, которую лечат медицинскими методами. Что ты скажешь по поводу этого нашего внутрисемейного события? Я не думаю, что у него будет так же, как случилось у меня.

В № 9 «Нов. мира» есть статья А. Гангнуса «На руинах позитивной эстетики». Как я поняла, эта статья — по поводу работы А. Кузьмина «Какой храм нам нужен» в журнале «Современник». Гангнус тоже пишет о махизме, но переводит в нужное им русло. У Кузьмина финал статьи связан с Тимофеевым-Ресовским. Вообще, появление статьи Гангнуса говорит о том, что Кузьмин нашел очень правильные ответы на свои очень правильные вопросы о цене предательства.

Остаюсь безгранично любящая тебя Танечка Гозман».

Он долго, бессмысленно лежал, глядя в сумеречный потолок, растирал отекающую руку, увязшую меж железных прутьев передней стенки кровати. Сердце билось, едва замирая бег. Сон был тяжелый, вещий, учительный, и надо было размыслить, как жить дальше. Рахманин включил надсознание и попытался разгадать сон: шел на трапезу к Богу — и не попал; сорвался в пропасть — но уцелел, когда не было надежды на спасение. Значит, надо исполнить задуманный урок, чтобы не угодить в петлю.

Рахманин едва дождался утра; при жиденьком свете пожевал солёного огурца, запил «холодянкой» из ушата. Изба настороженно слушала ранние бряки и гряки хозяина; пахло квашеной капустой и сыростью из настуженных углов. Едкий запах краски давно источился из комнат, и теперь ничто не говорило о ремесле хозяина... Слава Богу, убежал от сладкой ядовитой напасти, закрылся от зависти, угодничества, прельщения, лъстивых слов, всеобщей лжи, от той изнуряющей суеты, заменяющей доброе дело, что невольно настигает человека, достигшего известности.

...Правда, в «шкатуне» под письмами лежала приличная «котлетка» с валютой, нажитой в Америке, такая чужая и совсем лишняя в глухой деревеньке. Не сварить её, не изжарить, ничего не прикупить в сельской лавке, разве что избу можно поклеить вместо древних пожелтевших газет с портретами красных маршалов. Однажды сунув в подголовник, Рахманин редко вспоминал о деньгах: лежат себе, пить не просят; вот и Даша, милое существо, не позарилась на богатство, хотя и видела, наверное. Таинственная редкая женщина, которую проглядел, упустил из-под носа.

...Жаль, маловато «капусты», денежные кочаны не успели вызреть на забугорных полях; а как бы неожиданно смотрелись на стенах необычные обои «крапивной зелени», тысячи дубовых надменных морд давно усопшего американского президента и прошупывающий глаз верховного масонского гросс-мастера, замурованный в пирамиде Хеопса.

* * *

Рахманин не был высокомерным, но он так себя поставил на деревне, что оказался чужаком. Даже для соседки, у которой всегда брал картошку, он неожиданно потерялся. Рахманину казалось, что все живут без Бога, только он в истинном Боге, и стена выросла столь высокая, что невозможно ни перепрыгнуть, ни обойти. Художник не догадывался, что не надо искать обходных путей к односельчанам, а надо всего лишь пробуровать щёлку в переграде и, поклонившись, позвать к разговору ближнего (ту же соседку бабу Просю), и эта просьба скоро поскачет по избам и возбудит русскую жалость к гордецу. А где живёт сострадание, там нет места самомнению, ибо человека караулит сам Господь. Одиночество показано для монаха-затворника, чтобы жалость к мирянину не отвлекала, не разжижала потаенную молитву земными страстями, не расслабляла дух; а художнику необходим чужой взгляд и доверчивая искренняя оценка, чтобы омылась картина изумленным духом, как бы обновилась красками, обрядилась в невидимый драгоценный оклад.

...Меленький дождь-ситничек бусил с ночи, скрадывал леса и пожелтевшие, давно не кошенные по-

женки, поросшие бурьяном. Стадо пустило на мясо, и теперь коровий мык переплывающих реку коров и хлесткие выстрелы пастушьего кнута не будили спозаранку деревню. Новые времена, новые нравы: хочешь — трудись, гни горбину, а нет желания — лежи на печи и грызи житенный сухарь, тронутый плесенью.

Вода под горою пенилась, скатывалась к морю, выкручивая выюны, волочила с собою ветхие лоскуты тумана. Река не уставала, полная страсти и жизни.

«И почему я не пью? — вдруг с тоскою подумал Рахманин, скидывая с себя тяжелый сон, тупо уставясь с обрыва под ноги, в черные под берегом, недвижные омота, похожие на гранитные плиты. Река невольно втягивала в себя, приглашала войти, будто в давно покинутый родной дом. Внезапно на излучке с шумом сорвался в воду глинистый клоч, и художник вздрогнул, очнулся от наваждения. Подсознание сразу воспротивилось этой мысли, а надсознание высветило картину грядущей райской жизни, где обитают вечно, никто не старится и не умирает. По небу нехотя тянулись за горизонт серые неряшливые лохмы и прятали наступившее утро; в этом дождливом бродиве и кислой слякоти невозможно было разглядеть райских изобок, давно заселённых счастливыми-кушниками. И почему я не пью? — навязчиво повторилось. Кто пьёт, тот, наверное, счастливый, весёлый человек. Он живёт недолго, но бездумно, с вечным праздником в груди. Это зачастую гульливый, шальной и безмятежный жилец на белом свете, коему всё трын-трава. Его называют пропащим, вовсе негодящим, его все пинают, им брезгают и его обходят стороной, с ним «трезвяки» не затеивают никакого стоящего дела... А ему наплевать на чужой взгляд. Настал рассвет — хорошо, если проснулся, пусть и с больной башкою; тут же рука тянется за бутылкой, оприходовал стопарик, и снова «удивительная благодать».

Боже ты мой, сколько философствующих и лобомудрствующих на Руси, и всяк стремится устроить свой мир по одному «лекарственному рецепту» со свойствами клофелина: малая доза лечит, снижает внутренний напряг, а большая доза лишает ума.

...Дождь иссяк, дали очистились. Рахманин жёстко протёр ладонями лицо, поогляделся: мир вроде бы оставался прежним, но зачужел, утратил прежнюю неиссякаемую радость и красоту. И не оттого лишь, что природа переделалась к зиме, заугрюмела, спрятала нежные краски, накинув посконный серый макинтош, но от глухой давящей тишины, навалившейся на округу. Деревня как-то скоро обезлюдела, редкий дымок сочился во влажные небесные памороки, не хлопали дворовые ворота, не выбредали на улицу грузные коровы, посылая хозяйке прощальный грустный мык, не стрелял кнут пастуха. Ни гармоника, ни песни; красные трактора, похожие на божьих коровок, скоро превратились в кладбище

ржави. Землю запустили, а скотину поели. Остались доживать на деревне созерцатели, а не соработники природе, создающие одухотворенность. Без человека пейзаж мертв, как церковь без молитвенника; остаются временные, скоро истлевающие формы, но исчезает глубинное содержание, сохраняющее дом Спасителя.

Если долго торчать на месте, то превратишься в дерево, прорастешь корнем в землю, и никуда уже не сдвинуться. Время твоё умрёт, и тропа сольётся с муравою. А если шевелиться, то ноги сами знают, куда привести человека. Деревенские бабы поют на престольный, вернее, выкрикивают бесшабашно, раскрасневшись после стакашка самогонки: «Всё бы пела, всё бы пела, всё бы веселилася. Всё бы под низом лежала, всё бы шевелилася». Вот он, глубинный, самый верный склад народной жизни, соль и smak её, когда ничего не прибавить, не убавить... Шевелиться надо.

Рахманин почувствовал от тоски неожиданную боль в сердце.

Всё было, и ничего уже нового не обещалось; мечтания сникли, увяли, превратились в жёсткие, сухие будылья, печально шелестящие на ветру; вот и бывшее желание почёта и славы уже не тревожит сердца, не побуждает к «великим замыслам». Но и сонное, сумеречное доживание невыносимо. Как верно для такого случая монашеское толкование временности бытия: «Трудись — и твоя жизнь протечёт незаметно».

Рахманин никогда не знал душевной надсады, а тут припекло, когда Творец превратился в точку и не с кем стало поговорить. Люди с приходом либералов стали удивительно многословны и заносчивы, но и забывчивы, скрытны, пуливы. Сиюминутные плотские мелочи скоро перекрыли душевное, о чести и совести стыдились вспоминать. Удивительно: ещё ничего особенного не нажили, но и то малое, ничтожное бояться утратить, и сразу ворота на засовы; крепко сидящий внутри испуг пригнул человека, не давал раскрыться во всей полноте. Теперь испросить совета можно только у вечно живого Спасителя... Не унывай, Рахманин, если запутался; вот увидишь, Бог скоро расплетёт все твои узелки и косицы. Помни и мотай на ус: и в глухом суземке у лешего в затворе всегда хранится потаённый след на солнечную поляну.

...Надо вернуться в избу, протопить печи, сварить гречишной каши и от чугуника с постной едою начать новый спасительный круг жизни.

Рахманин сделал несколько шагов к дому, но вдруг круто развернулся к погосту, к разорённому храму.

...Ноги привели Рахманина к заброшенной стройке. Значит, пришло время творения. Доколе блудить умом, стаптывать ноги о чужие камни, неискренне заискивать перед чужими богами, невольно поступаясь своим.

«Денежки-то есть, так и маслице на хлеб», — размышлял Рахманин, оседлав бревно и уже с иным интересом озирая разор, срочно требующий рабочих рук... Церковь, как русская печь, и колоколенка, словно дымоход с колпаком: лаз изнутри по витой лестнице, только чтобы самому просунуться. Материал готовый, мужики рукастые, а там, что Господь уноровит. Бывает и такое: гнули сани, а получился тарантас. Для веры не надо ничего вещного, никаких украс, но больше строгости и страха пред волею Спасителя, и даже иконы мешают, отвлекают, как соблазн; глаза так и бегают невольно, словно мыши по сусекам, чтобы побольше ухватить и утащить с собою в запасец.

Тут спустился от деревни парень и сбил с мысли.

— Чей будешь? — грубо, неприветливо спросил Рахманин, глазами живописца невольно разглядывая юнца, за что-то сразу невзлюбив его. Кого-то крепко напоминает, но сразу не проникся. Ещё не велик годами, а по повадкам, поставу гордо посаженной головы и широким прямым плечам видно, что гордоус, баловной, много о себе мыслит. Глаза глубокие, широко распахнутые, слегка нараскосяк, на упрямом подбородке легкая русая щетинка, патлатые густые волосы по плечам на два крыла. Беспечная открытая улыбка, но в рыжеватых обочьях уже высклились морщины ранней зрелости.

— Да так, отца сын... Гулял мимо, вижу — человек. Вроде знакомый. Одинокый, пониклый среди развала. Может, худо ему... Иль думает о смерти? Место-то больно подходящее... Церковь строите? — ушел от ответа Алексей. Показалось обидным, что Рахманин не признал его.

— Корабль в небеса...

— Юрий Михалыч, матросы нужны? Я качки не боюсь.

— Алёшка, Алмазов, ты, что ли?

— Ну... Он самый, сын Горыни.

— Вырос-то как... И не узнать сразу.

Разговор не завязывался; рванный, клочьями, он с каждым двусмысленным словом заводил в тупик, напоминал необязательные побрехоньки. Рахманин замкнулся, посуровел, своим отчуждением отталкивая парня, отвел взгляд на кладбище, в сумерки ельников, откуда из-под зелёных подолов, словно нескладные человечки, потаенно выглядывали в мир голубые пирамидки со звездами и серые восьмиконечные кресты.

— Что-то вы к нам не заходите. Иль дорогу забыли? — Алексей, словно бы вспомнив, по какому делу явился к церкви, полез за пазуху, достал конверт. — Тут весточка вам от тётки...

Пристально наблюдал, как Рахманин неловко вскрывал почту, скрёб бумагу слоистыми, неухоженными ногтями.

— Отец-то где? — обронил Рахманин, мельком взглядывая в бумагу, и тут же убрал в конверт. По по-

черку узнал руку Даши, сердце смутилось и неловко дёрнулось. Рахманин уже догадался, что ничего хорошего для него в письме нет.

— Пока в Америке... Рисует «баксы». Вы бы почитали писёмко, Юрий Михалыч... Чего тянуть... Вдруг что-то срочное, как бы не опоздать, — настаивал парень, не отступаясь от Рахманина. — Я подожду ответа... Тётя плакала, как писала. Слезы ручьём. И мама ревела... Две коровы... Вы читайте, читайте, не тяните время... Я отвернусь.

— Ты всегда такой?

— Какой такой? — Алёшка поогляделся, словно бы речь шла не о нём.

— Из себя дурака строишь, остряк Мартышкин?.. Не повторяй своего папашку, парень. Отец — Горыныч, сын — Мартышкин. Заблудишься средь бела дня, не выйти к свету.

— Да нет, это мне не грозит... Моя тактика поведения — по экспозиции и диспозиции... Кривое — выпрямить, острое — затупить. Собственно, и Христова церковь стоит на исправлении крайностей... Чтобы заточить человека на совесть и милость. Как там у Пушкина: «...и милость к падшим призывал». Он верно уловил подвиг православия. Милость к падшим через доброе сердце. Чтобы не затонул корабль веры. Вроде бы каждый сам по себе, а тянутся в груд, дыхание к дыханию... Иначе паруса не поднять на путный ветер... Вот вы хотели поставить храм с загогулиной, кривое-то и выперло наружу, и доброе намерение накренилось и потянуло к бесу.

Алексей легко вывязывал странную словесную нить, не снимая с Рахманина привязчивого взгляда, домогаясь от художника какого-то искреннего признания.

— Слушай, проповедник... Пошел бы ты... — вспылil Рахманин и даже приподнялся с бревна, чтобы проучить наглеца.

Алексей уважливо поклонился, прижав руку к сердцу.

— Дядя Юра, понадобится помощь, зовите... Всегда к вашим услугам.

Слегка пригорбясь, парень отправился в деревню, оставляя за собою серебристый след, как бы воспаряя, отделяясь от земли. Рахманин почувствовал неловкость, хотел окликнуть Алёшу, но раздумал.

— Учитель хренов... Бродят тут всякие, — бормотал Рахманин, раздвигая слежавшиеся листы бумаги. — И эта дура... Какой-то сумашедший дом... Чего доброго разве напишет, щипаная курица?

«Юрий Михайлович, здравствуй... Посылаю тебе с племянником письмо. Не век же нам молчать да прятаться друг от дружки. Вот как судьба вывернула, век бы не узнать. Шли бы вместе под ручку — и асфальта под ноги не надо мостить. А тут каждая кочка под носок, любая ямка под пятку. Гузно не грузно, а врозь хоть брось — так, кажется, говорят. Живём

вроде бы рядом, но за тышу мысленных вёрст. В Мооскву легче попасть, чем на твой конец деревни... Ты человек умный, упёртый, не мне чета, дура необразованной, да вот через твой ум и пропала бы я вовсе, да Бог помирволил, оттянул от тебя. Только напрасно, Юра, от меня бегаешь, не репейная шишка, не пристану к гачам. Пусть другие волочатся, ноют и воют, да ни одна лахудра к твоим порткам не прильнёт, и бобылём тебе куковать. Так зло пишу не от злорадства, но потому, что жаль мне тебя, загнешься на холодной печи, и никто стакана воды не подаст, не накормит, не обстирает. Послушай досужую болтовню брюхатой бабы, на другое я сейчас не способна.

Сейчас я отдохнула от тебя, пришла в ум, и хвори сразу оставили меня. Но до чего же гадкий, тяжелый был год. Жуткий кашель, противная слабость, боли в области крестца и в животе. Сейчас, слава богу, всё отошло, и я готова носить дитя, и так рада, ты не можешь себе представить, какой это для бабы праздник. Сижу дома в окружении родни: папа, Зиночка, её дети. Горыня снова укатил в Америку добывать деньги, на этих деньгах, кажется, он с ума съехал. А мне ничего не надо, и слава богу, что ничего не надо, шью пелёночки, распашоночки, вышиваю подзоры и занавески, стряпаю новых куколок (спасибо Строгановке, хоть чему-то научили дуру за два года), усаживаю на батину лебединую стаю — пусть летят. Как мало человеку надо для радости, кто бы знал. Пожалуй, Коля-Царь только и догадывается, потому добровольно записался в монахи, да вот я, дура, его обавила, сбила с монастырского пути, и он так легко мне поддался, каждый день и через день бегаёт из своей кельи, слушает, как поёт в моей пузени его дитя. И то восторженно смеётся, то плачет. А ведь, Юра, это мог быть твой ребёнок и всё бы у нас сложилось по-другому, может, и счастливо, а если не сложилось, значит Богу угодно, чтобы зачалось дитя от другого мужика.

После расставания с тобою у меня уже руки опустились, я полагала, что не видать мне бабьего счастья, я уже и корить себя принялась, что так необдуманно поступила, закрыла перед тобою ворота, дала отлуп. Когда-то ты мне напророчил, что после встречи с тобой я уже никогда не выйду замуж. Мне было ужасно досадно, что ты из самолюбия и гордыни так легко разбираешь чужую жизнь по косточкам и ставчикам и разбрасываешь по сторонам, чтобы никогда они не собрались в единое естество. Теперь я говорю: дудки тебе, Юра-а! Волю Божью человеческим хотением не побороть. Надо только решиться и утвердиться в своём желании да не свалиться под угор на буюе, где и закопает тебя злая сила в пески и хвощи.

Я из тех женщин, которые не желают, выбирая, упрямо ждать и выгадывать. Моя жизнь — перманентная любовь; за десять лет три многолетних ро-

мана, и самыми страшными днями этого десятилетия были крохотные промежутки, когда не было никого рядом, и моё одиночество меня убивало, с живой снимало кожу, и моя нагая душа по-собачьи была от сиротства. Я натурально начинала умирать, странным образом повисала в пространстве, как распятая на воздушных, руки-ноги-голова, но без гвоздей и перекладин, не понимая, где небо, а где земля. Я не могу жить без мужчины, не могу быть незамужем. Я ведь всех любила, кого приближала ко мне судьба. Любила тех, кто оказывался мне близок. Я увидела тебя однажды у реки и сразу втюрилась по уши, а ты обсосал меня и выплюнул, как окурок. Но я не в обиде на тебя... Вот и сейчас Господь дал мне мужа, и я буду его лелеять и любить изо всех сил, мою единственную собственность, какой бы она ни была. Колю Янина я любила ещё с детства, я его боготворила, как ангела, упивалась его красотой. Та красота с годами вылиняла, Коля скукожился и почернел, и нет в нём ничего прежнего, царского, но душа-то у него светлая, может быть, чище, чем прежде.

Юра, меня просто взять в промежуток одиночества (что у нас и случилось с тобою), но уж потом я сама привязываюсь со страшной силой. Царь, как и ты, не понимает этой моей особенности, он просто, дрожа, как от озноба, ревнует, боится потерять, он простил меня за моё прошлое, не догадываясь, что именно в моём прошлом его нынешнее счастье. Я иногда думаю, что эта моя женская самоотверженность (невозможность не любить) — чисто русская черта.

Я не прошла бы свои круги ада, если бы меня по старинке где-нибудь лет в восемнадцать высватали, и ведь была бы счастлива. Я понимаю, что это счастье былых времён, когда жили по преданию и заповеди — любить того, кого дала судьба. И мне страшно, когда я гляжу на тех девчонок, которые ждут, ждут, ждут. Проходят годы, а они всё одни! Как это страшно. И мне это непонятно.

Русская литература дала образец, мне очень близкий. Это Наташа Ростова. Ты считаешь, что это «самка», которой всё равно с кем сбежаться. Для меня же Наташа Ростова — это выражение очень русского женского качества, самоотверженной страсти любящего сердца отдать себя другому без остатка, «без выгодного» обмена, в котором «отдать» преобладает над «взять».

...Слышу, на кухне гремят посудой, ждут к обеду, так уютно жить в полной семье даже в наше гнусное время, растворяться в её доброжелательном тепле. Желаю и тебе того же домашнего чувства...

Вот написала, излилась и вычеркнула тебя из себя вместе с пережитой болью. Прости, если в чём провинилась. Надеюсь, останемся друзьями. Прощай. Даша».

Часть пятая

НАВАЖДЕНИЕ

Глава первая

Неожиданно стемнилось; сначала неохотно, а потом всё смелее посыпал снег крупкою, странный такой, на ощупку напоминающий сечку пенопласта, — жизни в нём нет, той скрытой внутренней стужи, что придаёт снегу особую ободряющую энергию; залетели крупинки в открытую форточку прямо под нос литератору, улеглись на писчий лист и таять не хотят. Принесли весть, что зима на пороге, днями жди, и сразу смутили душу, сбили литератора с рабочего настроения. Считай, ещё один минувший год, — и не вернёшь, не ухватишь за хвостик. И слава те Господи, появился смысл оставить работу (ну её к лешему), прикинуть к стеклу, всмотреться сквозь частую уловистую ячею метели в соседнюю дачу, где каменщики на участке Горыни Алмазова выводят высокую кирпичную стену, ловко прихватив добрых сажен пять чужой земли. Да и бог с ней, с землей-то, с этой болотистой воргой, не драться же за неё, ведь и надо-то человеку метра четыре, чтобы повалиться и протянуть ноги, неопределенно думал Янин, подавляя недовольство, ту горьковатую досаду, которая всякий раз возникала, когда Николай подходил к окну. Спешит Мукосей наступает, с правого боку сродник Алмазов, а сзади кочарник из багульник. Когда селился — обрадовался воле, свободной пустошке, где не будет досмотра. И на тебе, вдруг оказался в резервации, со всех сторон глаз да приказ: не суй носа, куда не велят... Теперь что, выходит, биться за мхи и суглинки, за корявый березняк, за обабки и гладыши? Хотя прежде мужики плахами дирывались за лоскут поженки, смертным боем... Янину-то земля даром досталась, человеку совершенно случайному для Ижмы, в удобное время привелся и по пьянке за бутылку водки отхватил порядочный клочок неродящей болотины. А Горыне мало тридцати соток, ему гектар нужен, а то и два, чтобы вокруг благоуханная природа улаждала душу! Желание Алмазова понятно; так ты, мил дружок, пожалуйста, отрежь от моего каравая окраек, какой понравится, только спросись, склони голову, Горыня-гордыня, а то молчком отхватил, как Мамай из орды, будто так и надо. Ещё родня называется. Это Пиросмани науськал зятя, положил мне за пазуху калёных угольев...

Работа у Горыни спорилась, шла с зажимом, без перекуров и протяжки, — деньги бодро строят; особенно в два этажа уже выскочил под крышу: по стропильнику ловко ползали мужики, колотили в два ручника обрешетку под железную черепицу. Казалось, никогда не отдыхают, не пьют, не едят, не спят,

но без устали вгоняют гвоздѣ в безразмерную домовину во всю длину когда-то великого Советского Союза, чтобы уложить и закопать безмозглый народишко, что в который раз за столетие купился на коварные посулы, с легкостью отдал бесерменам родину на разор и растление.

Кряжистый плакучий березняк и частый снег, вставший стеною, приглушали звуки. Вот так и в стране: худое творится втихомолку, без бряка и грядка, как в немом кино, будто через пелену густого серебристого тумана, и потому не видится четко всеобщего разора и не слышится горького плача и стенаний: там горит, там полыхает, но дыма вроде бы нет, и никто не мчится с помощью. Неожданное несчастье свирепо разбежалось по людям, загрузило с головою, и каждый переживает свою беду в одиночестве, сколько досталось по судьбе. И вроде бы не видят христовенькие, как тянутся на Запад тяжело груженные обозы с краденым добром и, закутавшись в енотовые шубы, отъезжают на теплые «фатеры» те самые говорливые, пылкие демократы-прокураторы, что ещё совсем недавно жужжали без устали о «новом Ленине», правде и справедливости, свободе слова и слезе ребёнка...

Тут порывисто, с протягом подул ветер, и посыпались с берѣз вороха охры и золота, перекрывая порошу, покатались, цепляясь за кочки и высохшие стоянцы каравайника, пестрые шары перекати-поля, выстилая из листьев цветные деревенские половики. Пороша тут же усмирилась, свинцовые облака опростались, проредились, и сквозь муть пробилось солнце...

Белое, желтое и голубое смешались разом с потоками небесного света и ослепили, стало больно глядеть на мир даже сквозь стекло. Господи, до чего же красиво, как чувственно и празднично обрядилась на последях истомившаяся в родинах земля, прощаясь с осенями, укладываясь в долгую дремотную постелью...

Янин устыдился безделью и вернулся к столу, цепляясь за неотчетливо промелькнувшую мысль. Главное — ухватить её за кончик и потянуть, а там запотеет в голове и потечёт:

«Слышал в деревне про Ельцина. Говорят, захоронили бы пьяницу вместе с царскими останками, всё меньше расходов. Всё промотает и про... беспальный черт. Надо народ сбивать в кучку, а он гонит в ямку. Грубо сказано, но в самый глаз.

Всё повторяется в истории, и ничего нового, чем бы оправдать человеческое самовольство, самовластие и насилие. Ещё Беранже подметил: «Ничего нельзя ожидать от общества, в котором честность сердца и благородство ума побеждаются союзом всяких выгод и всевозможной ложью».

Не знаю, было ли такое, чтобы сбивался народ по сермяжной правде и крестьянским толковникам, где

всё подробно расписано, как надо совместно жить по совести. Вдруг снова среди бела дня откуда-то басы взялись в России, ратью и набегом, всё сразу в пыл и разбой, жадно хватают без разбора чужое, как своё, глумятся над простецом, уже осмелев, не скрывая поганой рожи. Личины сбросили, без стеснения открыли хари на весь белый свет; батюшки-светы, сколько уродов наплодилось истиха в джунглях каменных вавилонов и выползло из тьмы; сколько червья вдруг взялось на здоровом теле отечества и давай пожирать его плоть с хрустом и подвизгом. Только рот распялишь от удивления и надолго застынешь в изумлении, забудешь захлопнуть; такой, зная, русский народ, смиренный да раззявистый. Ему кричат глазастые: «Эй, дурак, закрой рот, а то vareжку насунут». А он в ответ: гы-гы-гы... И не такое видали — и сдюжили, а этих клещей влеготку страхнем с выи, выбьем из волосни...»

Не знаю, как в других землях, но в России все революции, начиная с Петра Первого, затевали верхи от пресыщенности, самодовольства, гордыни и сердечной хладности (дворец, Кремль, царская порода, баре и господа). Простец-человек со своей неизживаемой смутной мечтой о Беловодье (земном рае) невольно потакал смутителям, попускал перемены в стране, которые внезапно обретали свойства напуска, очарования, волхования, наваждения и опоя мухомором, а когда человек пробуждался и приходил в сознание, обводил вокруг себя шалыми полубезумными очами, то видел уже другой мир и, опомнившись, понимал, что жить в новом состоянии, о котором давно ли так мечталось, невозможно. И накатывали в грудь ненависть и всё сожигающее отвращение к захапавшим власть; надо бы грудь вперёд и штык наперевес, чтобы дать отбою, да где они, бывлые сотоварищи по борьбе? Ау-у! Пустыня. Иные упали духом, другие спились, а третьи опочили в земле, и гордый бойцовский дух давно уплыл за окоём, в небесные толщи. А творители зла уже сцепились локтями в легионы тьмы и собрали в охрану свирепые собачьи своры, готовые напустить на каждого недовольного «сотворенным раем».

Революции замысливают богатые господа от скуки за рюмкой рокомора и лупиньяка, устраивают прожиточные и наглые верхоглядые-затейники и загадочные выборщики из тьмы, вербуя «пушечное мясо из народа», а отмывает от крови страну то самое презренное крестьянское «быдло», без которого, оказывается, не обойтись даже в Кошечевом государстве, где кошунник над златом чахнет; но когда потиху возвращается на землю порядок, господа, забыв бывлые слёзы и стенания, вновь хватаются за руль, чтобы от скуки опрокинуть корабль... И никакой тут романтики, как уверяют доморожденные «филозофы», но одно лишь чужебесие, отвращение к своему кормильцу и презрение к Богу...

Ибо нажитые знания уходят, как в песок, и ничего от них не остаётся, кроме смутного ощущения былого. И память, которой так кичился, становится решетом. И вдруг понимаешь, что слава — это ошипанная курица разового употребления.

«Скучно жить на свете, гос-по-да!»

Октябрь 93 г.»

Янин мучился, тихо остывая, но в горячке толкающегося в рёбра сердца никак не мог оторвать взгляда от чадающего экрана, откуда сочился яд; всё мнилось Николаю, что сейчас сойдет с небес посланный Спасителем великан с ружьём и призовет бесов к порядку, свяжет окаянных в беремя нерасторжимой вервью, вскинет на горбину и потащит в судное место.

А на экране в свой черед появилась оплывшая Новодворская: сидит на стуле расщеперясь, словно «баба» на заварном чайнике, какая-то кулёмистая, необхожденная и потасканная; ведёт себя бесцеремонно, манерно развалилась, похожая на уличную торговку, деловито, отрывисто выстраивает будущий колониальный порядок в России, лениво выплевывает, как шелуху от семечек, суровые, неприязненные, скорее злобные слова, похожие на лай караульной немецкой овчарки. Обиженная жизнью, усталая, пожилая мешковатая «фрау-мадам» презирала всех, даже тех, кого, может, и привечала случайно по кровному родству краем души, — так отмахиваются от комаров и мошек невидимым веером без малейшего оттенка приязни, жалости и сочувствия, — перебирала людей по сортам, как разделанное скотское мясо на рынке, отправляла кого в темницу, кого на эшафот, кого в уличные профурсетки и воровские бригады, кого в лагеря на отсидку, кого за прилавок закрытого спецраспределителя для своих.

Разрушение. Безжалостного и неумолимого разрушения всего прежнего бытия: промышленности, сельского хозяйства, быта, традиций, моделей поведения, душ, судеб, понятий о добре и зле, — требовала Новодворская, навряд ли слыша себя. Этой самолюбленной ведьме не хватало лишь хлыста и немецкой овчарки на поводке, чтобы, как в незабытом Освенциме, травить несчастных, ставить их на пылающие уголья. — «Мы должны привыкнуть к мысли, что люди будут стреляться, топиться, сходиться с ума. Я так благодарна Ельцину... Пойдём против народа. Мы ему ничем не обязаны... Пора понять, что мы не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле, и очень важно научиться стрелять первыми, убивать... Добей гадину или заказывай себе гроб».

С неколебимой жестокостью неплодной надзирательницы ведьма распоряжалась человеческими судьбами, толкала кого взашей из родного дома, кого в рабство на чужбинку, кого под топор, кого с обрыва в пропасть. Разве дождешься от неё милости?

От чужого отчаяния эта порода «кобыльников и детей содома» испытывает лишь наслаждение, вконец испорченная демоном зла, мстящая русскому народу лишь за то, что он носит в себе совесть, благожелателен и милостив к другим, лишен мстительности, стесняется чужого падения и терпеливо сносит тяжёлое лихо, уповая лишь на Бога. Вот из-за этих, редких в мире, национальных черт и ненавидят Россию чужебцы, и желают для неё разорительных бед; для них людская кровь — ржавая водица из старой водосточной трубы...

...Братцы мои, ну как тут не напиться? С тоскою Николай обшарил углы, зная, что ничего не найдет, упрекая себя за слабость натуры. Народ в Москве бьется за истины, жизни своей не щадит, а он, как шелудивый пес, ищет косточку, чтобы утешить не душу, а ненасытное чрево своё. Что за хворь, братцы мои, заселилась, что за дьявольский насыл в самую сердцевину души, ведь за бутылку продаюсь дьяволу. Давал же обет жене, искренне клялся завязать с вином, со слезами на глазах молил поверить в последний раз. Ну что это за болячка, которая так немилосердно треплет и изнуряет слабого человека, что за труха и мшара нарастает в мозговых извилинах, истребляющая всякое благое помышление.

И Дашка пропала, днюет и ночует у отца; говорит, де, у тебя, Коля, стужа в дому, взрослый околеет, не то что ребёнок. Дочку называли Настей, такая лупетка растёт, ещё и полгода нет, а всех знает и разговаривает на трёх языках: хинди, фарси и манси. Рот «у трешотки» не закрывается... Без переводчика не поймаешь. Наверное, толмачом будет... Вспомнил Янин Нاستену, и сразу отлегло в груди, мир преобразился, показался не таким уж и безрадостным, вполне можно жить, если голова на плечах. Пьянка, конечно, изнутри рыхлит человека, оседает на облик тусклой пеленой тлена и умирания, но ведь не совсем же изживает душу. Это как патина на серебре: кувшинчик от времени становится тусклым, но потри щелочком — и вспыхнет на свету благородный металл, и чеканка заиграет.

Янин уткнулся взглядом в книжные полки, сбитые из тесин своей рукою. Попалась на глаза повесть Леонида Кокоулина «Затёски к дому своему». Христианская, искренняя душа этот московский литератор, и работа его такая же чистая, сокровенная, вроде бы и бесхитростная.

Какая пропасть между либеральными чужебцами и «русской почвой»! Одни ратуют за свободу и справедливость, нагло отбирая это право у Бога, другие стоят на любви и совести. И невольно Кокоулин сунулся в глаза Янину своей несоизмеримостью с разрушителями, своей особостью не только во взгляде на православную жизнь, но и тем, как нестяжательно близятся его, Янина, дни к закату: весь уряд деревенской избы писателя, уклад быта, простота

отношений никогда не улягутся в один плотный ряд с либеральными безнациональными смыслами в стену российского дома, как ни напаяивай русскую «харю»; в каждом венце, в каждом углу его будет не-срядица, никакой мох и клин тут не пособят (там дует, там поддувает), никуда не спрятать руку неумехи и недотыкомки, что с какого-то «перепугу» вдруг самонадеянно, не глядя на близкую зиму, раскатал прежнее национальное жильё и взялся, не держа прежде в руках топора, ставить на холодах, в неурочную пору новую русскую храмину. А ведь это тебе не с бухгалтерских счетов снимать ростовщическую пену, промысливая, как бы одну костяшку затереть меж пальцев и в свой прибыльок накинуть...

...Где он, Лёня Кокоулин, добрая душа, и как живётся ему под прикровом Сергия? Если в Москву рвану, то запопутём загляну. А что? От столицы час езды. Помнится, как за рюмкой, изрядно ослотивший после бани, нажаренный веником после пяти заходов в парилку, намытый, утомленный, какой-то весь домашний, пушистый, рассказывал он о тех послевоенных скитаниях. Надо записать, иначе скоро высплется из ветшающей памяти.

«Одно время я ловил треску в Магаданском крае. Запускаешь, значит, крюк, делали его из пружины. Вместо наживки лоскут от портянки. Во рыбыны — с метр! — Раздвинув широко руки, он смотрел на толстые пальцы, не занизил ли размер трещины. — Мясо белое, нежное. Вспорешь, достанешь печень, тут же шарошкой покрутишь, пленку снимешь, присолишь. Через пять минут готова закусь. И хороша под спирт. Только спиртыга идёт, под водку совсем не то. Хлебнешь печени, она ещё тёплая, жир течёт. И спирту стакан разводишь снегом до 70 градусов. Меньше уже не так вкусно... А крабы только под коньяк. Когда лёд ещё тонкий, в море всё видно. Краболовку опускаешь, видно, как эти звери клешнятые прут туда. Зрелище впечатляет.

Коля, чего только я не пивал. Пили шерлак для обмоток. На палочку ватку и крутишь. Сам яд на вате оседает — и пьёшь, но остаются частицы лака, и потому нельзя рта закрывать, зубы склеиваются. Другой раз ножом скорее раздвинут. Если цинга, так клык наружу. Его скорее сразу обратно, в прежнюю ямку. Пили духи: привезла однажды бухгалтерша, весь посёлок пропах сиренью. Но лучше всего «Тройной» одеколон. Водичкой разбавил — и красота, аж шипит, и пена наверху.

Коля, а ты пудру пил? Знаешь, здорово, и женщиной припахивает, будто баба возле, только руку протянуть. Водой развёл, размешал — и на тебе полстакана водки, а вся грязь на дне. И гуталин ели: намажешь на хлеб, как масло, а с другой стороны спирт. Зубную пасту пили, денатурат. Ну а самогон — это вообще классная вещь, несравнимая. Чего только не пили на северах, когда строили гидростанции, но

сколько работы провернули. О-о! Циклопический масштаб. Бродяги, матерщинники, бывшие эки, бомжи, пьяницы, авантюристы, романтики, алиментщики, дембели после фронта, зачастую «бросовый человеческий материал», которому город ставил тавро: «в приличное общество не годен» — и гнал от себя. Они-то и сгорали на сибирских стройках, поднимали государство, не щадя здоровья. И кто-то их оценил по достоинству? Всякие люди там попадались, только слабые и подлые встречались редко. Естественный отбор советской системы. Тридцать лет моей жизни. Никаким пером не описать... И не спились ведь. Кто-то, может, и отдал концы, не без того... Ты посмотри на меня! — Хлопнул по груди внушительным кулаком, выпил, жеманно отставя мизинец, крикнул и стал деликатно закусывать красной рыбкой, часто обтирая тылом ладони седеющие усы. — Разве я похож на пьяницу?.. Нет... Потому что труд строит человека и не даёт ему окончательно свалиться в грязь. Главное, Коля, ума не теряй. Во-о... А ты, гляжу, попиваешь. Смотри мне! — и потешески погрозил пальцем, как мальчишке».

* * *

Отвлекло Николая от записок какое-то шевеление на крыльце, скрип ступеней. Вроде бы цапаются за дверь, чтобы открыть, а ухватить ручку не могут. Может, показалось? Такое тут демоническое место, что всё чудится, мерещится, вадит и водит: не иначе ещё исстари тут завелись блудные лешевы и озёрные девки-марухи, однажды чуть не увлекшие Янина к царю пучины. Вдруг на воле простонало, завопело грозно, с протягом: «У-у!» Жёлтое листованное облако свисло в жгут, хвостом полоснуло по стеклинке и полетело дальше. Янин вздрогнул, снова сбился с мысли, отложил перо. За окном небо прояснилось, засиневело, вспыхнуло солнце, ударило в окно, и в этом предвечернем сиянии усадьба Алмазова внезапно сдвинулась и пошла по пухлым неживым снегам на невзрачную изобку писателя, оставляя за собою глубокую траншею, загудела басовито: «По-топ-чу!»

— Царь, ты дома? — весело вскричали за стеной.

Янин вздрогнул, чуть помедлив, приоткрыл дверь.

У крыльца переминался рослый пузатый мужик в кожаной тужурке, рысьем малахае — похоже, что чужеземец. Из рыхлого, ворсистого, с искрою окола выглядывали монгольские раскосые глаза, лицо выбрито на новый манер: то ли борода, то ли недельная щетина. С приходом Ельцина пришла во власть эта мода на Русь.

— Здорово, Царь! Не признал, что ли?

Хрипловатым низким голосом сановитый прищелец напоминал Горыню Алмазова. Янин молчал, придиричливо разглядывая старинного приятеля. Как не признать-то его, да говорить отчего-то не хотелось. Вернулся с Америки, дом Николая стороною

не обошел, знать, нужда приперла. Прежний, Горыня-то, прежний, правда, без долгой бороды, вехтем походит на бая или татарского мурзу, только лицом серый, с пористой мертвой кожей. Станный какой-то. Может, кровь на чужбинке перелили? Иль морду перекроили?

— Чего молчишь-то, Царь? И в дом не зовёшь... Чаю бы наставил родне. Зазнался, что ли?..

Горыня ехидничал, и этот заносчивый капризный тон ужасно не понравился Николаю, вызвал на сердце большую смуту. Жаль, Дашки возле нет, она бы отбрила барина.

— И не позову... Я не Царь тебе, а Николай Александрович Янин... И перестань надо мной юродствовать. Надоело слышать твои насмешки. А то...

— Ну, продолжай... Какая собака тебя укусила? Может, укольчик от бешенства?

— Тебе что, мало своей земли? От моей кусок отхватил... С одной стороны Мукосей прижимает, с другой ты навалился.

Янина затрясло, он подавился слюною, закашлялся. Он не привык цепляться за своё, у него никогда не было нажитка и прибýtка, кроме этой, криво срубленной из сухостоя, избёнки; Николай привычно, считай, лет пятнадцать, жил из последнего, на сухарях, но беззавистно, не жаловался и не плакался, грошей в чужом кармане не считал, денег к своей руке не приваживал, полагая, что Господь без куска не оставит. А Горыня, чего скрывать, часто пособлял, вытаскивал Янина из нужды, и вот он, Николай, забывал хорошие услуги и пожадился саженью золотины, березняка и торфяной дрязги... Но теперь у Николая завелась жена, появилась Настюха, и чувство стяжания, владения добром, прежде незнакомое, даже ненавистное ему, неожиданно проснулось и стало требовать своей доли.

— Пожалел?.. Ну-ну. Друг ещё называется. — Алмазов замгнулся лицом, содрал рысью шапку, охлопнул о колено. У Горыни и голова-то была обрита пусть не «под нулёвку», но в мелкую щетинку, как у кабана, и нынче круто отливала сединой. Остудив черепину, Алмазов глубоко натянул треух, пряча глаза.

— Ну и пожалел... Что с того? — неприятным, визгловатым голосом завопил Янин. — Да, пожалел... У тебя-то вон! — Коля, презирая себя за скаредность и зависть, взмахнул рукою, очерчивая немислимые барские владения Алмазова. — А ты возьми и отрежь от своего-то хоть крохотный кусочек... На, Коля, пользуйся, нищета подзаборная. Ага, даст он... под зад пендаля. Катись колбаской по Малой Спасской. Прискочил, как Мамай из Орды... Всё, всё заberi, Змей Горыныч, гони нас на улицу... Вон «зелень-то» из горла лезет, как бы не подавиться трупятиной!

Янин кричал и никак не мог остановиться. Вся скопившаяся за последние годы насада, весь угар

жизни, внутренний надлом, вся невнятица и безысходность бытия, когда впереди полный мрак, выливались наружу, и Николай готов был обляять весь белый свет, как дворовая собака, спущенная хозяином с цепи. Просто Алмазов подвернулся под руку. Горыня лишь качал головой, не перебивая, презрительно свесив губу, словно татарский мурза на торжище, и не мог принять безумье Янина в толк. Чего взвился человек, какая муха укусила? Николай задохнулся, ему не хватало воздуха, и Алмазов вклинился — с внутренним раздражением, но внешне спокойно, не повышая голоса. Забугорные деловые встречи, когда искусство смешалось с бизнесом, уже взрастили в художнике повадки, как надо вести себя. Сознавая себя гением, выдающейся личностью, и все вокруг станут принимать тебя за гения, которому просить ничего не надо, всё подадут на блюде.

— Громче, громче, Коля, ори-то... Чтобы все слышали, какой негодяй Алмазов. У несчастного Царя последний кусок из горла вырвал... Вот и делай людям добро... Тебе худо, но кто виноват? Я?! Ну уж не-ет... Шевелиться, мой дорогой, надо, руки-ноги-голова, чтобы всё работало. Мозгами надо ворочать. Мозги-то, старичок, совсем заржавели у тебя, и что ещё оставалось — труха и песок — высыпалось на дно стакана. Ты, конечно, забыл, как я выживал? Тонул в болоте по самую макушку, и ни один гад-патриот не протянул руки, не сказал: «На!»... Они Русь спасали, а я? Значит, я подыхай, как собака? Я в трудах зрение потерял и язву нажил. Думаешь, за границей-то одни калачи и пышки? Погорбать с моё... Слезай с печи, Коля... Надёрни на ноги кирзачи, бери в руки заступ и вкалывай, ворочай землю до посинения. Если головой не можешь. Талант профукал, размазня и трепло, а теперь ищешь виноватого, рот раззявил на даровую копейку. Э-э, братец мой, это при Советах дуракам везло, а теперь жалельщики повывелись, съехали на Красную горку, вот и упирайся рылом в стенку. Если жить собрался.

— Ты мне ещё Расскажи про лягушку, угодившую в молоко... Тоже мне учитель сыскался.

Янин устал от собственного крика, гул стоял в голове, ноги простыли в снежной каше, и в скверном убитом состоянии Николай лишь ждал зацепки, чтобы уйти. И повода не было звать гостя на чай, и побежденным не хотелось себя признавать. Получается как в той присказке: вор украл и сам же кричит — держи вора.

Тут из-за угла неожиданно вытаился Мукосей в сером габардиновом плаще и при шляпе. Словно член Политбюро... Не здороваясь с Яниным, вроде бы не узнавая соседа, издали позвал Горыню:

— Георгий Павлович, ну долго вы там? Я жду...

— Сейчас иду... — Алмазов неопределенно развел руками, съязвил вполголоса про Мукосея: — Такой проныра, везде достанет... Учись жить, Цариш-

ко, у соседа. А ты репу чесать, блох гонять и языком трепать. И я тоже хорош: думал, с тобою по-человечески сочтемся. Свояки всё-таки. А придётся по-иному...

И направился к Мукосею, разбрызгивая снежную хлябь.

«Ведь зачем-то появился Горыня, может, денег хотел предложить? Эх, Коля-Коля, и чего закусил удила, — травил себя Янин, — иль белены объелся? Голодные мыши пятки покусали, а ты горячиться. Конечно, нет ничего дороже на свете свободы и воли, но надо к ним подгадать, сами в руки они не придут. И коли угодил в петлю, теперь жди момента выскочить. Горыня тебе скорее пасть порвёт, но не простит обиды, ибо живёт воспоминаниями и никак не может отпихнуться от них, закопать в душе неугасимую обиду и жалость к себе родимому, и даже молитва и церковное покаяние, оказывается, не лечат от мстительных чувств. И чего, дурень, взъелся? Взялся, растяпа, топором траву косить... А зачем он грозит-ся? Я тебя доста-ну-у... Ага, достал он, пим дырявый. Герой с дырой. Ну, доставай, если такой смелый... Будто я залез в его двор и увёл овчущку, поросюшку и бабу на сносях?.. Ты попросил бы, Алмазов, похорошему, язык-то не пришивной, не оторвался бы».

Обидчивые мысли не оставляли Николая, толклись по новому кругу, бездельно «дражнили» душевную язву, разжигали угрюмую тоску. Боже мой! Какая муть внутри, так хочется вырвать туго спеленутые руки и бежать от людей на простор, куда глаза глядят. Хотя бы вон туда, за ближнее веретё, в снежные хляби, в тёмные ельники, к волкам на поедь. Пусть ищут.

Янин вернулся в дом, взял бинокль, торопливо навёл его на усадьбу Мукосея.

Боря Мукосей с Алмазовым топтались у распахнутых ворот, о чём-то горячо толковали, размахивали руками, будто норовили подраться — так кулаки чесались; и в усадьбу не входили, тянули время — значит, у каждого был свой интерес. А может, планировали будущее, как деньги надежнее спрятать? Янин разжигал к ним вражду, подкладывал в огонь ненависти берестичко и никак не мог унять сердца. За окнами торчали его супротивники, особой породы люди, которые хорошо устроились при «самоедском» режиме Ельцина: ведь они знали, как надо жить и зачем стоит жить, кого топтать в грязь, а кого миловать. И старинный друг Горыня Алмазов, с которым было столько пито и сокровенно говорено, оказался в чужом стане; вместе с вражьим войском проник в русскую крепость и теперь насилует за стенами защитников её, грабит их дома и составляет расстрельные списки, чтобы делить нажиток побеждённых. И вроде бы в стороне: дескать, моя хата с краю, не замешан, не участвовал, снарядов не подносил, петлю не мылил, топор не точил.

Наверное, кровь Алмазову в Европе перелили иль сделали пересадку сердца. А что? Нынче и голову могут пришить другую. Какое горячее казачье сердце было у Алмазова, постоянно искрило и кровило, — и вот остыло, дало осадку, сморщилось и закоростовело. Ну и наплевать на его сердце с большой горы. Посердится — глаже будет.

...Надо в столицу ехать. Но зачем? С какого перепуга? Кто ждёт в Москве забытого всеми литератора, имя которого потухло ещё тыщу лет назад, заиндевели, покрылось пылью, закоростовело на старинном чердаке города N, и уже не смахнуть с него плесень и прах забвения. Это царь Николай Второй увёл за собою; нельзя носить на себе чужое имя, которое не по твоим плечам. А если оно пристало и приклеилось, как вторая кожа? Всё Го-ры-ня, он, дьяволёнок.

...Тут дверь протяжно простонала, и в проёме появилась Даша со свертком на руках.

— Отец, мог бы и встретить свою мамочку.

Голос грудной, напевный, налитой внутренним женским счастьем. Оглянулся, пристально, как бы сквозь сиреневую дымку, уставился на жену, удивляясь, не веря глазам своим, что не наснилось ему чудо-чудное, не померещилось, это его благодать явилась, Божий гостинчик, доставшийся случайно, может, спустившийся с небес вместе с Христом в ту хмельную ночь, полную наваждений, блазни, греха и потаённого стыда, который не мог тогда переступить, ибо врожденная стеснительность помешала, встала меж ними преградой. И эта дородная женщина, с зоревыми щеками, с ядрами налитых грудей, дерзко выпирающих из ватника, каракулем каштановых волос и припухлыми, припотухшими на холоде губами, своим присутствием, казалось, заполнившая комнатенку, — вся его? И неужели это богатство от темечка до пяточек принадлежит ему? Да быть того не может: кто-то коварный подсуропил, подсунул под руку с дальним умыслом, чтобы вскоре отобрать и грубо насмеяться. Вместе с радостью вдруг царапнула душу ревнивая мысль о случайности праздника, который скоро должен кончиться, потухнуть, остыть в ночи, и от ярого костра, к которому случайно приткнулся Янин, останется лишь окоченелая грудка головней.

— Чего молчишь-то? Коля, дай пройти. Стоишь, как малахольный. Иль случилось что?

Янин молчал, будто языка лишился. Нежданной радости оказалось в груди так много, что она выхлестнулась наружу, вдруг превращаясь в неясное, беспричинное раздражение. Надо забивать в себе глупую поросычью радость, нашептывал кто-то, живущий внутри Николая, припуская толику яда. Когда в стране так много несчастных, стыдно быть счастливым. Помни: если захлебнешься радостью, утонешь в ней, после станет невыносимо возвращаться к тоскливому одиночеству. Всегда сохраняя

пути для отступления, ибо после большой радости приходят и большие горя. Прижимай сердце, не давай ему безоглядной воли, чтобы не разгулялось хмельное, не разыгралось, опившись счастьем, не раскалялось от довольства жизнью, опрыскивай его водицей сомнения и неверия...

Даша раскрыла сверток, из окутки выглянуло крохотное личико, удивительное подобие Николая Янина, только в женском образе: белокурое дитя с лазоревыми наивными глазами, ямочки на плотных щеках, похожих на молодильные яблоки, налиты багрцем.

— Красавица моя... доченька, — запинаясь, пробормотал Янин, зажимая в себе слёзы, нагнулся над дочерью, вдыхая запах первородной безгреховной чистоты. Настенька, тут же выпростав из пеленок ручки, лупила глаза и безмятежно щерилась беззубым ртом, пыталась, наверное, что-то осмысленно сказать, пальчиками наисккивала ладонь отца. Наконец уцепилась за мизинец и отчетливо, звонко засмеялась.

— Вся в тебя... Ничего моего, — ревниво сказала Дарья, заглядывая в лицо дочери из-за спины мужа, туго, жарко навалившись грудью. — И носик твой, башмачиком, и глазки голубенькие, и губки алые бантиком. Вот как ты в детстве... Такого тебя я когда-то и полюбила.

— Врёшь ты всё... Волосы твои и комплекция, как молотами сбита... И ушки козы, топориком, и глазки косенькие... Шучу-шучу, — спохватился Николай, что наговорил лишнего.

— Что-то юмора твоего не поняла... Ну да, что плохое в дочери, значит, от меня, — протянула пока без обиды, но голос заметно осунулся, заскрипел.

— Ну почему обязательно плохое? Даша, я разве сказал про что-то плохое?.. Голубушки вы мои, писанные красавицы.

Николай почувствовал, как напряглась Дарья, отстранилась, нервно отодвинула мужа от лавки.

— Ну да... Не сказал, но подумал. Смеёшься надо мной? А ну, отойди... Заморозишь ребёнка. Печь на топить не мог. Ведь знал, что придём.

— Даша, ну зачем ты так грубо...

— А вот так... Закопался, как барсук в норе... Всюду грязь. Хоть бы прибрался... Ну как ты можешь так жить?

— Прости... Живу как могу...

Солнышко в груди потухло, зашло за облака. Стило, угрюмо стало, беззащитно, радость уплыла в черные ельники, погрузилась в пожухлые осоты и болотные сыри.

— Как-то не по-людски живёшь... На всех лаешься, все у тебя скверные, только ты один хороший да пригожий. Лучше бы на себя посмотрел.

Даша вынула из кофты тяжёлую грудь, склонилась над дочерью; Настюха облапила налитую тить-

ку, на миг застыла, елозя по ней ноготочками, ещё не веря такому богатству, жадно прильнула к сосцу, не спуская с матери доверчивого взора.

Тысячи раз писали художники этот чудный библейский образ, дивясь и восторгаясь, сравнивали кормящую женщину с Богородицей с младенцем, но так и не смогли вполне, во всей глубине постичь его, ибо белоснежная налитая плоть невольно заслоняла дух от взгляда художника.

Янин присел в сторонке, мысленно кляня себя за безделье и приглашая жену к примирению. Вспыльчива Дарья, но отходчива; вот-вот приструнит своё сердце, оттаит и смущенно улыбнётся и словно бы нежным закатным заревом опохнет лицо. И душа Николая ответно поплывет навстречу. Но тянулись минуты, а Дарья всё бычилась, нагоняя в избёнку глухую тоску.

— Чего надулась, как мышь на крупу? — нарушил молчание Николай. — Иль случилось чего?

— Случилось... Ты зачем Горыню облаял? Он к тебе со всем сердцем. Помочь хотел. Тебе что, клоча болотины жалко? Одни лягушки, комары и гады ползучие. Того и гляди, ужалят.

Жена приостыла, сдвинулась сердцем к мужу, пока вкрадчиво, на пальцах, прислушиваясь к себе, чтобы не пересолить.

— Ты знаешь, жалко, — нехотя буркнул Янин: мириться отчего-то сразу расхотелось, жалость к себе встала в груди колом. Он из угла разглядывал жену и против воли видел в ней только неприбранное, нескладное, некрасивое, что так и лезло в глаза.

— Коля, надо бы съезжать к отцу... Не в этой же халабуде вечно жить?.. И отец не против... Но ведь ты примаком не хочешь...

— Не хочу... Лучше удавиться...

— Вот... Сразу удавиться... А Горыня денег обещал: мебель купим, домик обошьём, веранду построим, кухнюшку, крышу под железо. Заживём по-людски... Доченька-то у нас какая красавица и умница, скоро вырастет, в школу поведём, потом в институт, выйдет замуж, будем внуков нянчить. Боже мой, какое счастье! И что ещё человеку надо? Коленька, родной, прости меня, дурку-колотовку. И чего завелась? Всё кажется, что ты не любишь меня.

Даша всхлипнула, зарылась лицом в одеяльце, чтобы скрыть внезапные слёзы. Ей в эту минуту вдруг такое семейное счастье открылось во всей природной полноте, которое тайно загадывала с детских лет, вынашивала в уме до самых подробностей, но не верила, что Господь доблорадно обойдется с нею.

— Он денег обещал... Ха-ха. Ты его просто не знаешь. Ему в Америке кровь подменили... Да он из-за гроша ломаного жену ударит, — неуступчиво возражал Янин. — Ему бы последнее оттяпать под себя. А там хоть трава не рост.

— Горя добрый... Ты забыл, сколько он помогал тебе, когда нужда прижимала и власти тебя топтали?

— И что, теперь прикажешь на коленях перед ним стоять до конца дней, милостыньку вымаливать? Алмазов, подай рублик на пропитанье! Баба с голоду помирает, молоко в титках засохло, девку нечем кормить, — протяжно заканючил Янин. — А он в ответ: баба с возу — кобыле легче.

— Перестань, Коля... Сплюнь скорей. Что ты такое говоришь... Бес-то за плечом. Злой ты какой-то стал. Прошу, перестань...

— Да, злой... А кто меня сделал злым? Ответь мне! Господи, как я ненавидел советские порядки, задыхался от удушья, словно жил в противогазе с пережатым шлангом, так теперь с ещё большей силою ненавижу новых бесов!

Даша промолчала, внутренне сжавшись, переживая грозу. Постановила себе не перечить. Мужа взяла в полон черная немочь, и надо было унять беспокойную душу, дать ей послабки.

Сумерки сошли в домик и затушевали его нутро под старину, спрятали нежные солнечные полутона, но выпятили подмалёвок и общий задний план: сразу полезли в глаза грубо тесанные стены, потрескавшаяся задымленная печура, обмазанная глиной, щелястые полы, а самую молодую хозяйку неожиданно превратили в степную бабу-рожаницу, безглазую, безликую, побитую оспой, без оглядки на красоту вырубленную из камня теслом, дождями и ветрами. Надо бы подняться и включить свет, но Янин не топорился, полагаясь на жену. А Дарья байкала ребёнка и, склоняясь над засыпающей Настенькой, тянула унывым голосишком какую-то модельную карамельно-сладкую, до приторности, песенку, напоминающую старушечью молитовку: «Бай-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, нашу дочку не пугай, наша Настя бойка, не боится волка. Этот старенький волчок скоро брякнет на бочок и протянет лапки-цапки-царапки... Лень-лень-пототень, убирайся за плетень».

— Даша, дай денег до Москвы, — вдруг оборвал Николай словесную путаную пряжу. — Надо рукопись пристроить... Зовут, в кои-то веки обещали издать.

Дарья вздрогнула, всполошилась, включила свет, подошла к Янину, взгляделась в бледное, как опока, отрешенное лицо. Глаза вроде бы ясные, кроткие, но в глубине промелькнула нехорошая усмешка и утонула. Не выдавая испуга, спросила:

— Надолго — нет? Что вдруг?..

— Одним днём обернусь...

«Ага, одним днём обернусь, — ревниво подумала Даша, но останавливать не стала. — Знаем вас, мужиков... Лезете, куда не зовут. Один вот так же ушел в магазин за спичками в домашних тапочках, а вернулся через пять лет».

Глава вторая

В забегаловке у Ярославского вокзала Янин принял стопку, «закусил» рукавом, чтобы не тратиться на закуску. Время на часах споткнулось и остановилось навсегда: гнаться было некуда, скудная, но тихая жизнь, полная блазни и чудес, осталась у озера. Янин трусливо выпал из неё, бежал неведомо куда и вышел на том полустанке, где никто не ждал. Легче всего потеряться в большом городе. Как-то неловко было глядеть на пьющих и жующих, бессмысленно тарашившихся в пивные кружки, осоловелых и несчастных, потухших, с ржавыми лицами, каких-то немывтых и нечесаных людей, в стоптанных гамашах и с пьяной ухмылкой на сальных, непослушных губах, пытающихся что-то выдать из себя. Слова застревали в рыбьей шелухе, а гундосого сбивчивого мычания никто не замечал. «И это тот самый русский народ, который я живописал всю жизнь, пытаюсь проникнуть в его душу, но лишь сам оделся в ту же шкуру, так же занедужил и внутренне опустошился, не принимая ничего на веру, готовый нынче же умереть на шпалах, — подумал Янин, прислушиваясь к себе. — Они все потерялись в броуновском движении и не знают, куда приткнуться. Страна неумолимо распадается, но даже в таком болезненном состоянии не зовёт на помощь. Здесь толпились обреченные, стоящие в очереди на погост. Осталось выкрикнуть в гудящий улей: “Кто последний?”». Янин услышал со стороны свой визгловатый голос и невольно рассмеялся дурным смехом: в очереди на кладбище нет ни первых, ни последних. Порядковый номер расписан на небесах.

Прошел товарняк, громыхая вагонами, и забегаловка мерно затряслась, вспенивая в кружках мутную желтоватую отраву, чем-то напоминающую кобыльей мочу.

Янин накопал в плаще последние рубли и повторил стопарь под вторую ногу, чтобы не охрометь. На душе стало куда спокойней, мир уравнился и уже не виделся уродливым и расхристанным, лица собутельников обрели достойное выражение, стали близки и дружественны.

«Собственно говоря, а чего теперь суетиться, куда спешить? Старт принят, финиша уже не избежать. Если бы кто знал предстоящую земную дорогу, то заранее проторил бы её, разметил полустанки, почтовые станции, подготовил сменных подкованных лошадей, изладил бы добротную кибитку с медвежьей полстью, чтобы не околеть от стужи до конца пути. Но самое смешное, что никто не знает коварных поворотов и спусков, ухабов и дорожных просовов, где может опрокинуть сани и затереть седока полозьями, никто верно не обнадежит, что не встретиться в пути изгильник с кистенём, лесной душегубец и варнак с дубиной, не спутает направление буран-

снеговой, не кинется под ноги коня гонная волчья стая, ошалевшая от голода, — размышлял Янин, ворочая в пальцах стакашек, разглядывая в мутном стекле следы от пальцев, как бы считывая направление своей судьбы. — Всюду печати наставлены, как вешки верстовые на пути, а мы, грешные, не замечаем, и ведь не хотим их видеть. И что следует из вялой пошловатой литературщины, в которую я обряжаю скудную мысль, не в силах выразить ярко и коротко, как всплеск молнии? Да ничего, братцы, утешного не следует. Ибо прежнего не вернуть, но и в нынешнем мире, катящемся круто вниз, в пропасть, жить невозможно. Раньше жили в противогазах с зажатым шлангом, — чуть припустят воздуха и снова на перекрой, — а нынче прокручивают Россию через мясорубку и превращают народ в фарш.

Как тут не вспомнить изречение афонского монаха, вырубленное на могильном камне: «Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы». Мысль неисследимая, живущая с той поры, как человек впервые вылез из пещёры и посмотрел в ночное звездное небо. Увы: «Все мы в этом мире только гости». Есть штампы, которые не тускнеют от повторений, но лишь настаиваются, как доброе вино.

Ум понимает неизбежность конца, но плоть страшится, и дух не ободряет, но подпекает усталому телесному составу, усохшим мясам и скрипучим, лядящим косткам.

Кто-то за соседним столиком пожаловался совсем трезвым отчаянным голосом: «Господи, как жить?! Денег не хватает, чтобы помереть». Вроде бы пьян человек, а разума не потерял. И ответ ему был вполне разумен и спокоен: «Если нет денег помереть, тогда живи... Вот, к примеру, головёшка пышкнула и погасла. Сил нет даже шаять. А поднеси огоньку, в ту же минуту вспыхнет и ещё может весь мир спалить». Говорил кто-то из русской глубинки, деревня, скобарь, «тупая рожа». Печать великого литератора — барина, кончившего свои дни в Париже, размашисто поставленная на крестьянский облик. Значит, и образ Христа — всего лишь «дикая мордовская рожа?»

Ввязываться в разговор не хотелось. Все были правы, а это означало, что нет смысла за рюмкою искать правды.

Забавный русский народ: его спихивают в пропасть, а он, почти не упираясь, лишь растопыривает крыльца под ветер из бездны и кричит: «А чо-о, братцы-ы! И тама поживём! Ишо посмотрим, каково будет разживаться на новом-то месте!»

Москва сильно разбавилась послевоенным наезжим людом, и, чтобы узнать её сердцевину, надо погрузиться, как плодояжка, в самое ядро и пожить в нём, испивши мутного сока. Когда «скобари» срывались с нажитого места, думали попасть в рай, а угодили в чистилище, и много всякой скверны при-

шлось принять, а отеческое отринуть, чтобы пришить «свой хлястик к новомодному сертуку».

...Не надо жалеть и тосковать, что мы иные, но надо оставаться иными и гордиться своей инаковостью. Ибо в этой таинственной особости, непохожести и таится наше спасение. С нас хотят содрать сермягу и натянуть французские панталоны, чтобы ляжки выпирали на стужу, а шульняки на мороз...

Янин вылез из пивнушки, как из смолокурни, весь налитый табачным чадом и прогорклым человеческим духом. Обошел вокзал, присматривая себе место на грядущий ночлег. Москва велика, но нет в ней приклона одинокому нищелюду. Какой-то окончательно опустившийся мужик в лохматой овчине протянул к нему сгорбленную грязную ладонь, униженно улыбаясь. Янин развел руками и прошел мимо. Скоро и он, беспаспортный бродяга, превратится в такого же бомжа. По пути подобрал со скамьи расстеленную газету — пригодится на ночевую. Наверное, где-то есть в Москве ночлежки, приюты для бездомных, но дух Янина ещё противился, бунтовал против низа, на дне которого придётся раствориться.

Приткнулся в уголок, нарочито широко, на две руки распахнул газету, дразня мильтонов и шпиков. Нет, натуру не переделаешь; каков рожон — таков и заморжон. Спросите его, зачем дразнишь гусей? — не объяснит и в здравом уме.

«День» призывал к восстанию: «Банду Ельцина под суд!» «Круто, смело, вызывающе смело, не статьи — кипятки; коли так безоглядно пишут, значит, пока не линчуют и мозги не выбивают. Хотя, судя по накалу, дело идёт к расправе», — подумал Янин, бегло проглядывая замасленную газету, пахнущую жареной курицей. В деревне Ижме старухи судачили о том же: «Пьяница беспальный... (это о Ельцине). Ему даже овец нельзя доверить пасть, а он куда вызвался, дристун, на какую вышину, дурак такой! В тачку бы его, да и на мусорную свалку».

Редактор «Дня» Александр Проханов был знаком Янину шапочно, издавека, но знаком, и даже пару раз «поручались», сердечная широкая улыбка и баюкающий грудной голос даже намекали на возможное приятельство. Но, как говорится, близко не приближайся — разлижут, далеко не отходи — забудут. А Николай так глубоко занорился в лесные дебри, так отчаянно отшатнулся от добрых знакомцев, так крепко затворился в безмолвии, что сам и возвел вокруг себя глухую стену молчания. Вот исчез человек с глаз, посчитав одиночество за бесценное земное благо и, столько лет не подавая голос, как бы умер для всех. Одни затерялись, исполнившись гордыни, другие канули в небытие, иные бежали из столицы в обиду на сволочные нравы нового времени, дескать, гори всё синим пламенем, а банда захребетников и прилипал, шакалов и гиен тем временем не зевала, по-свински нагло уселась за стол и давай жрать в три горла, со

всех сторон обгрызая русский каравай. Главное — успеть надкусить, оставить метку и печатку от своих зубов, а там время покажет, чья возьмет. «Кто смел, тот и съел» — девиз ростовщика-живоглота, ловко снимающего с должника последнюю шкуру, пока тот не очнулся и не завопил: «Караул, грабят!»

...За Проханова крепко взялись. Свора поганых бесерменов топчутся на его имени, как хлысты на радении, значит, что-то такое больное, скрытное зачалил писатель острым коготком, о чём не забыто, пока ранка кровит, и вот воют, пропадины, голоса, черти окайнные, на перекрёстках, житья не дают, обкладывают матом «соловья генштаба» черные вороны перетруски: дескать, коммуняка, жидоед, красно-коричневый бандит, графоман, фашист, чума на его дом. А Проханов, не робея, усердно напильником скоблит их по желтым зубам, снимает стружку, аж искры из пасти снопом, как у огнедышащего змия, пожирающего юных девственниц и пьющего кровь невинных белокурых младенцев.

Смысл поездки в Москву потихоньку нащупывался. Если Янин сорвался из дома в неизвестность, значит, кто-то позвал неотложно, значит, нестерпимо стало таиться в своем куту, когда народу невыносимо больно и он ищет Спасителя. Спаситель был тысячник и тысячерук, но у него была одна страдательная Душа. Сейчас, наверное, — предположил Янин, блуждая по гудящему, тревожному вокзалу, — на поездках и самолётах, на машинах и автобусах спешат со всех углов Союза безымянные ополченцы Большого полка в столицу, чтобы подставить плечо под Крест страстей. Никто не звал их на помощь, не молил прибыть, но душе было нестерпимо оставаться в стороне, и многие тайно осознавали, что идут в безвестность, в последний путь, на заклятие, но тёмное, печальное будущее не убивает стремления, не подтачивает воли, но разжигает чувство справедливости и Христовой правды, которое можно утишить лишь в бою.

Янин опустился в метро и бессознательно, по какому-то чудному наитию вышел на Цветном бульваре, где снимала угол газета «День». Ноги сами знают, куда идти.

На этажах было уныло, тревожно, серный запах беды струился по коридорам, подобно болотному гнилому ручью, заплесневелые хмурые окна походили на бойницы: казалось, за каждым поворотом в напряженной тишине за мешками с песком таится засада с пулемётом.

«Вот он, штаб восстания, и если толкнуться в ближнюю дверь, то увидишь Ленина, сгорбленно прильнувшего к углу стола и бегло строчащего очередные тезисы, и ближайшего друга Иудушку Троцкого, торчащего за плечом, нетерпеливо обласкивающего маузер. «Промедление смерти подобно!.. Ну как?! — воскликнул Ильич, оглянувшись на приятеля и

добавил опасливо: — Не вороши зря эту штучку. Оружье раз в жизни само стреляет». Янин не расслышал, что ответил сподвижник вождю, потому что мимо решительно прошагал высокий мужик в кожаном длинном пальто и шляпе, в востроносых лакированных штиблетах, с рыжим, туго набитым потёртым саквояжем, похожий на чекиста, — и перебил видение.

Упакованный господин исчез за дверью, и Николай, не чинясь, толкнулся следом.

— Александр Андреевич занят... У него совещание.

Секретарша, занятая упакованным солидным господем, даже не взглянула на Янина.

— Доложите Проханову, что пришел Царь Николай.

В приёмной возникло лёгкое замешательство.

— Скажите... да-да, так и скажите, пришел Царь Николай. Проханов знает.

Янин икнул, его плавно повело вправо, и он обрушился на диван, закинул ногу на ногу. Секретарша как-то боком, но удивительно ловко, по-свойски втиснулась в кабинет и плотно затворила за собою дверь; но оттуда успели выпорхнуть пахучее облачко от цыплёнка-табака и шелуха неразличимых слов. У Николая засосало под ложечкой, затомилось в груди, и он с тоской вдруг подумал, что жареного цыплёнка прикончат без него. И с укоризною в свою сторону добавил, сглатывая слюну: «Зачем с утра пил? Кто не закусывает, тому нельзя пить». Высокий господин снял широкополую шляпу, смахнул с короткой стрижки невидимую пыль; у него были упругие, плотно прижатые уши и перебитый в переносице нос кулачного бойца. Он так и не присел, а водрузив перед собою на стол саквояж — наверное, боялся отпустить от себя, — нервно переминался и взглядывал на часы. Всё на господине профессорского вида было ладно пригнано: крахмальные упругие манжеты с золотыми запонками, белая рубашка со стоячим воротником, кожаное длинное пальто с иностранными «лейблами» — короче, преуспевающий гражданин с американских берегов, перепутавший в России явки и адреса, заблудившийся и случайно оказавшийся в «черносотенной нерукопожатной газетенке», постоянно лаявшей на евреев и либералов. Он маялся, считал минуты, ещё не догадываясь, что через три дня снайперская пуля пробьёт ему переносицу и выйдет в затылке. Эх, кабы знать, где упадёшь, загодя бы коврик подстелил... В этом непонятном томлении господин достал очки в тонкой золотой оправе, посмотрел время и перевёл пронизывающий взгляд на Янина.

— Я вас читал, — глуховатым голосом вдруг нарушил молчание господин. Он, оказывается, знал Янина, и Янину это польстило. — Вы хорошо пишете, но куда-то пропали. Наверное, крепко употребляете?

— Бывает... не без этого. — Николай звучно щелкнул по острому кадыку и пьяновато засмеял-

ся. — Не говорю не пей, но говорю — не упивайся! Ибо вино — это кровь Христова... Знаете, кто сказал? Не последний был человек.

На сухое усталое лицо задумчивого, всё знающего господина сошла грусть.

— Но лучше не надо. — Он поколебался, но открыл саквояж, запустил тонкие пальцы в туго набитое нутро, не глядя пошарился там, вынул три пачки денег и небрежно, с каким-то высокомерием и чувством превосходства кинул Янину на чайный столик. Так бросают кость собаке. — Истратишь, потом ещё дам... Только не пей...

— Спасибо, благодетель... — привстал Янин и поклонился.

Он не обиделся, что его приравняли к беспородному псу, но и обрадоваться не успел, понять, что же случилось: словно молния ударила, и гром прогремел над Москвою в суровые крещенские морозы. Господь призрел беспомощного человека на опасном распутье и протянул руку помощи. Но Николай ведь не просил Спасителя, даже не вспомнил о нём с той самой минуты, как вышел из дома.

Янин, не чинясь, торопливо рассовал пачки по карманам.

Тут появилась секретарша, легко подхватила таинственного человека под локоть, чтобы не пропал «денежный мешок» и, слегка прижимаясь, подхватываясь под его длинный шаг, как упитанная собачонка, повела гостя в другую дверь. Господин прошёл мимо, не кивнув на прощание, даже не взглянув на Николая.

Что-то же толкнуло Николая ехать именно на Пятницкую, хотя ничего доброго не сулилось и никаких указательных знаков не было расставлено по дороге из деревни. Люди в редакции работают, дело делают, им некогда прохлаждаться, вести разговоры с бездельным забытым литератором, «ничтожнейшим» из всех существ в мире, забывшим благородные задачи гражданина. Значит, судьба, — решил Янин, с некоторым горячечным туманом в голове разглядывая пустынные стены с единственным громадным плакатом, закрывающим окно, чтобы никто не подглядел в редакцию «Дня» с улицы. Человек в кожанке, с маузером на боку, смахивающий на Проханова, жёстко целил в Николая Янина крюковатым пальцем и грозно спрашивал: «Ты всё сделал для защиты Отечества?»

...Да-да, это, несомненно, судьба... Судьба — это комбинация разновекторных сил, обстоятельств, смыслов и неведомых задач, которые сбегаются в одну точку, независимо от человека «Х», и устраивают ему ловушку. Так муха, до того вольно летавшая по комнате, вдруг попадает в тенеты паука, хотя тот и не вязал сетей специально для этого несчастного существа, но именно оно залипает в мелкую ячею, и борьба уже бессмысленна.

Три пачки «синеньких», распиханных по карманам, приятно грели ляжки и грудь. Не было ни гроша — и вдруг алтын. «На похороны хватит», — вдруг в необычную сторону скользнула мысль и попритухла.

Тут вернулась грудастая кареглазая секретарша, чрезвычайно взволнованная, и оборвала путаную мысль.

— Кто это был? — спросил Янин. — И мне вдруг перепало... Как с неба свалилось.

— Друг газеты, — сухо ответила женщина. — Что же вы не заходите к Александру Андреевичу?.. Вас там ждут...

Проханов сидел в дружеской компании и был уже в легком подпитии, улыбаясь, в добром расположении духа.

— Здравствуй, Коля... А мы тут решили пообедать. Война войной, а еда по расписанию. Присаживайся, старичок, к столу... Сто лет не видались. Володя Бондаренко, подай Царю стул. Видишь, кто нас удостоил визитом?.. Батюшка, отец Димитрий, смотрите, кто нас навестил, живой Царь, можно сказать, явился с того света, если есть Тот Свет и Тот Стол, на котором нас поджидают яства, драгоценные вина, благовония, золотые яблочки, медуницы шуршат слюдяными крылами и тянут хоботками из душистого сладкого родничка райский нектар... Ира, Ира! — вскричал Проханов через стенку. — Где ты там, милое сокровище, наша спасительница, звезда неугасимая, наша кормилица! Сходи, пожалуйста, в магазин и повтори... Парочку «каберне», цыплёночка, огурчиков... Какой у нас высокий гость, сам Царь Николай Третий, да и батюшка ничего не выкушал, а всё паки и паки, воздухом сыт. Я бы послал Володю Бондаренко, он скор на ногу и знает, чем напитать грешное брюхо, но либеральная мафия грозит его убить, бывший друг Приставкин точит кинжалы вместе с Черниченко. Надо красного витязя Бондаренко беречь.

— Только пусть попробуют, не на того напали. — У Бондаренко от выпитого вина лицо стало мужественным, пылало кумачом, под цвет красного свитера. Критик был готов к борьбе с полчищами «ненаших». — Вчера прямо домой доставили посылку... Ха-ха... Открываю, а в ящике гробик, обтянутый красным бархатом, в гробике череп и скотские черева... Хотят запугать.

Дмитрий Дудко весь лучился, слушал, приставив ладонь к уху, но в разговор не вступал. Лысина во всю маковицу, будто смазанная горчичным мёдом, глаза ласковые, но вместе с тем текучие, испытующие, пробегают по лицам. Сквозная седая бородёнка, невесомые в кудель волосёнки колышутся по-над ушами, и кажется, что над куполом головы трепещет серебряный венчик света. Отец Дмитрий всех немилостивцев давно простил, не держит зла, и оттого, что душа его свободна от мстительного чувства, полна

доброты и любви, ему живётся настолько вольно и незлобиво, насколько позволяет жестокое время, захваченное «неистовыми псами революции».

Скоро вернулась Ирина, принесла вина и закусок, ловко прибралась и заново наладила стол. Отец Дмитрий озирает всех любовным взглядом и жевал красный пылающий перчик, похожий на пороссячий кутачок, любимое лакомство редактора. Пригубил вина ровно столько, чтобы только смочить губы и не сронить бордовые капли на бороду. В затрапезном черном пиджачке, с нагрудным крестом на цепи, Дмитрий Дудко напоминал бедного приходского батюшку из волжского старинного села, случайно угодившего в самое чрево противостояния стяжателей с нестяжателями. От него-то и нужны были лишь немногословное благое напутствие и эта ободряющая, умягчающая улыбка, с которой священник наблюдал случайное, быть может последнее в жизни каждого, скудное пиршество.

— Тебе, наверное, водочки? — спросил Проханов, поглядывая, как стеснительно щиплет курицу Янин. — Ведь ты по-прежнему считаешь, что вино — это кобылья моча.

— Да нет, отчего ж... И вина можно. Я уже водочки с утра принял...

— Вино побуждает к добру, оно умягчает, гонит сердечную слезь, погружает в лёгкий туман, когда никого в подробностях не видишь, но всех отчего-то жалко до слёз. Так — нет, отец Дмитрий? А водка что... она, как кувалдой, бряк по голове, и никакого тут ума, одно безумие, сушит и терзает на части душу, зовёт к топору. Особенно, когда жарко. И никакой пощады, никакого умиления. Но когда на улице морозец, когда все члены коченеют, тогда о-о-о! Тогда водочка — целительный бальзам. Стопочка для куражу — лучшее лекарство. Аптеки не нужны.

— Либералы помнят Бога, но не верят в Него. Они подходят к Спасителю с дальним бухгалтерским расчетом: а сколько перепадёт лично мне? И это опасно. Они крайне эгоистичны, себялюбивы, немилостивы, — заметил Дмитрий Дудко, снова пригубивая бурого вина. — Я их многих знал по тюрьмам. Они не умеют прощать, выкованы из холодного металла. Они давно отвели себе главное место на земле, и в рай хотят занять все лавки в красном углу, чтобы никого из русских простецов не пущать. Они отчего-то думают, что обязательно попадут в рай. В Бога не верят, но знают, что рай есть и там в последние времена их ждут.

— Может, снова их Бог являл им скрижали, где всё расписано по дням? — Проханов ткнул пальцем в потолок. — Какие-то беззаботные, наивные в своей наглости и жестокости люди. Сейчас добрые люди сидят в обороне в Белом доме безоружные, считают часы, сколько осталось жить на свете, а злые и тёмные демократы стаями нависли над Белым До-

мом, хихикают, орут пьяному Ельцину: «Раздави гадину!» Все эти окуджавы и черниченки. Сколько страсти, сколько удовольствия они сейчас испытывают, напевая песенку: «Возьмемся за руки, друзья...» И не понимают, стяжатели, что судьба их разберёт поодиночке, как вот эту куру-гриль, по косточкам, каждого в свой момент, а у неё зубы острые. Уцепят, когда не ждёшь, — и не вылезешь из капкана. Судьба — это медвежий капкан, который мы сами для себя заботливо выставляем и всё отведённое на свете время только и думаем, как бы не угодить в ловушку, как петух в ошип.

— Не посмеют... Патриарх их предаст анафеме... Если прольют кровь, будут прокляты на этом и том свете, — перебил Бондаренко, заботливо перетирая зубами курятину, запивая «каберне». — Он же возгласил. Ты что, не слышал?... Чего ещё надо... Батюшка, а ты-то как думаешь? Может, завтра и палить начнут? Уже всё готово у злодеев, войска подтянуты на безоружных, танки ползут в столицу со всех сторон. У осажённых ни воды, ни света, тысячи закрылись в стенах, ждут, надеются, молят Бога. А с бесами-то что будет?

— Не могу знать, Володенька... Где они будут, куда их Бог сошлёт на Том Свете, на какие галеры, в какие кипящие котлы, — мягко, неспотычливо отвечал Дмитрий Дудко, широко улыбаясь, нисколько не омрачаясь ликом, будто речь шла о постороннем и ничтожном. — Они ведь, отступники, чувствуют не как мы, православные, у них свой Хозяин. Не надо за них переживать, миленький, кто ложь почитает за правду, а ненависть за любовь. Господь всегда поступает по справедливости. И волю Его надо принять.

— Жить по справедливости — это вековая мечта русского народа, — ухватился за последние слова Проханов. — По правде жить и справедливости... Казалось, что может быть проще?

— Позволю себе не согласиться с вами... Желание земной справедливости для всех закончилось ГУЛАГом...

Священник внушал медоточиво, закругляя, выпевая звуки, выбирая каждое слово, избегая евангельских притч, вынимая мысли из глубоко продуманного ещё в «красных темницах». Он говорил, как читал свои стихи.

Проханов нервно, часто прикладывался к бокалу, он порывался возразить, но из почтения к Дудко сдерживал себя.

Батюшка спохватился, оборвал нравоучение, перевёл взгляд на Янина и вдруг позвал:

— Коленька, присядь ко мне.

Янин смутился, от ласкового обращения загорелся лицом, сел возле. Держась одной рукой за крест на груди, другой рукой священник цепко ухватил Николая за пальцы, властно стиснул их, прижал к столешне. Ладонь у батюшки неожиданно оказалась

пухлой, как подушка, но сухой и горячей. И от самого Дудко, как от натопленной русской печки, наплывал жар. Невесомая борода была слеплена из пуха одуванчика-плешивца: дунь — и улетит. Янину хотелось окунуть пальцы в бороду и потрепать: живая — нет? И подуть — взлетит ли под потолок сотнею зонтиков, искрясь на солнце... Вино ударило Янину в голову, а закусить он опять не успел. Да и не хотелось, ибо сполохом негаданного праздника, казалось, была переполнена грудь. И Николай снова украдкой скользнул ладонью по бедру. Деньги были в кармане. Ничего не приснилось. Даше рассказать — веком не поверит; скажет — сочиняешь.

— Крещёный?

Янин кивнул, порывшись под рубахой, достал из-за ворота невзрачный оловянный крестик на пропотевшем шнурке. Отец Дмитрий одобрительно кивнул. Спор за столом сам собою утих, все с какой-то надеждою уставились на Николая. Будто полузабытый литератор принимал присягу, вступая в тайное общество.

— Пьёшь? — прямо спросил отец Дмитрий, уже без сладости в голосе.

— Пью, — едва слышно признался Янин. Скорее прошелестел губами. Ему стало вдруг стыдно своей негодящей пропитой сути, утратившей человеческого облик, своего мятого, в пузырьках, лица.

— И часто?

— Всегда... Сколько себя помню.

— А когда же ты работаешь?

— Никогда...

— А как же ты живёшь?

Янин пожал плечами. Что тут скажешь и как оправдаешься, если это сущая правда.

Батюшка растерялся, пожевал губами, о чем-то размышляя, посмотрел в глаза Янину — не шутит ли? — и сказал решительно, отбросив сомнения:

— С этой минуты ты бросил пить. Аминь. Вот так вот...

Батюшка разжал ладонь, отпустил пальцы Янина на волю, поднёс к его губам тяжелый серебряный крест с распятием, и Янин искренне, с неожиданным слезливым чувством поцеловал его, ощутив на языке лёгкую кислинку. И сразу, в ту же минуту, поверил, что завязал с зелёным змием, стал совершенным человеком, и тьма египетская окончательно отступила от него.

— У меня уже шестьсот пятьдесят человек, которые с моего благословения бросили пить, — легонько возгоржась собою, загораясь круглыми щеками и воссияв голубым детским взглядом, воскликнул отец Дмитрий. — Скажу вам, всякие были люди, порою конченные, совсем пропащие, иные споткнулись нечаянно и упали, были и урки, что из тюрьмы не вылезали, и вот в камере, в этом аду, и завязали с рюмкой... Такое вот дело... А ты-то, Коленька, —

протянул батюшка умильно, растягивая звуки, — а ты-то почто начал пить? С какого такого невыносимого горя?

— Значит, судьба...

— Знать, судьба его-о така-а-я, — пропел Проханов, — жить от бабы вдалеке... Девки довели? Они та-кие, прор-вы.

Но Янин не успел ответить.

— Судьбы нет, — уже строго отчеканил отец Дмитрий. Он окормлял паству в газете «День», и надо было держать уросливое стадо в строгости, чтобы не заблудилось в эти окайнные годы, когда многие, не подумав хорошо, не представив будущее осыпающейся страны, хватались за оружие. — Да-да, судьбы нет, а есть финиш.

— Но это и есть исполнение судьбы. Итог жизни, как прожил, — неожиданно для себя возразил Янин, приотдвигаясь от батюшки, чтобы взглянуть в его глаза, — не шутит ли.

— Как это судьбы нет?! — вскричал Бондаренко. — Батюшка, то ли ты говоришь?

— А вот так, Володенька... Суд Божий один на всех, и когда он будет, — нам, смертным, неизвестно... Судьба — это личная свобода выбора, твоя дорога, которую выбираешь: по горам иль долинкою, прямиком иль кривулиной, через тернии иль чистыми лугами, на конех охлюпкою иль пеши, с Богом иль с самим чертом, будь он проклят. Финиш твоей жизни и есть судьба, которую ты самолично выбрал, без чьей-либо указки, и не на кого тебе пенять и плакаться о напрасно прожитых годах... Если выбрал рюмку, то и тони. Господь ничем тебе не поможет, даже ногтя в помощь не протянет, если ты не призвал Его в помощь. Не призвал Его, значит, не нужен... И Он не придёт... Скажу больше: Николай Островский был атеистом, но он приник к Господу куда плотнее, чем многие верующие. Николай Островский — это святомученик, православный атеист, взявший пример с Христа; с его образа иконы будут писать и молиться по церквям во своё спасение. Вот он-то в раю. Истинно говорю вам.

Батюшка не сказал «аминь», но всем послышалось, что итог суждений подведён. Измученный хворями, но с ясным взглядом Николай Островский, вызволенный из кладбищенской темени, появился в красном углу редакции, как «адамова охранительная голова», обвел застолье укоризненным взглядом и принудил всех замолчать. В комнате воцарилась глухая тишина, и тут из-за толстых кирпичных стен, из-за амбразур заплесневших окон, напоминающих крепостные бойницы подошвенного боя, донёсся неясный, грозный гул русского восстания. Вздвораженный народ двигался Москвою, разлившись по улицам, и, казалось, не сыскать сейчас во всём свете той силы, которая могла бы обуздать людскую реку, вогнать в прежнее русло.

— Церковь отбирает свободу выбора, и в этом её здоровая сила. В хаосе смуты православная вера отыскивает центростремительные силы, которые утишают анархическую волю, настраивают гармонию, спасают душу от разрушения, — возразил Янин. — Свобода выбора есть лишь у атеистов, анархистов и монахов. Атеисты уверены, что Бога нет, что я — пуп земли, и этот пупизм позволяет им творить что угодно. Монахи уже свой выбор сделали, и ничего больше их не волнует. Они говорят: мы выбрали свою жизнь и счастливы во Христе. Другая жизнь им претит, и они свободны. А если человек, к примеру, только что крестился, вошел в церковь не по уму лишь, но искренне, по зову души, то он окончательно повязал себя с Богом, сам оставаясь внутри неумираемых сомнений в полном одиночестве. Вот и тычется в закоулки и отпрядывает от них в испуге, боясь Божьей грозы. Что-то тянет вернуться обратно в мир со всеми его прелестями и сладкими грехами, бесы смущают, но совесть не пускает из церкви. Надо исполнять заповеди, — учит она, — быть в миру подобным Богу.

— Но это же твой выбор, быть в Боге иль во вне, — настаивал священник. — Пьяница ты или трезвенник. — Батюшка утомился, лицо его состарилось, пошло крапивными пятнами, побелело на висках, глаза потускнели, затуманились, но он не собирался отступать и гнул свою линию, невольно снова отбирая у Янина свободу поступка.

— Нет и нет, отец Дмитрий... Это не выбор, как выбираем помидоры на базаре, роемся на лотке, это нечто другое, что невозможно определить словесно, всё на грани мистики, подполья души. Когда человек приходит в лоно Церкви, он добровольно лишается свободы выбора, сознательно обрезает тупиковые тропы, соглашаясь с её заповедями, говоря: «Я не хочу вести себя дурно», ибо это не угодно Богу. Где ж тут свобода? Перед твоим взором всегда стоит с укоризною суровый и любящий тебя Отец, которого ты любишь и боишься оскорбить и обидеть непослушанием. Господь возбуждает совесть до предела, и только это чувство путеводительно. Атеист говорит: «Всякая власть есть насилие». Верующий во Христа утверждает: «Всякая власть от Бога»... И вот сейчас сатанисты осаждают Белый дом, может, завтра иль нынче ночью труповозки потащат убиенных и будут топить трупы в реке, а тёмные силы будут реготать и глумиться, орать по телевидению, что нельзя идти против власти, ибо всякая власть от Бога...

— Царь, остановись! Тебя понесло куда-то не туда, — закричал Проханов. — Ты совсем заклевал нашего батюшку... Ира, Ира, принеси нам кофейку!

— Мы любим рассуждать о Боге, легко судим, потому что верим внешне, пьём веру, как хмельное вино, чтобы наутро, проснувшись, забыть, что случилось с нами. Многие нынче поспешили в церковь,

чтобы успеть, не опоздать к раздаче милостыни, обжигаем пальцы о пылающие свечи, тянем аллилуйю постным голосом, целуем иерею руку, любим рассказывать, какие мы нынче молитвенники, но веры-то в нас не прибыло. — Голос Проханова заскрипел по-стариковски монотонно, обреченно, как бы внутри расселась трещина, и вовне из нутра полились глубоко скрываемые скорбь и уныние. Он повертел в пальцах бокал бордового, почти черного вина, напиток всколыхнулся, вскипел, пошли наружу пузырьки.

— Александр Андреевич, это уже хорошо, что задумались, — поправил отец Дмитрий, но Проханов навряд ли его расслышал, ибо, трудно думая, пытаясь склеить прошлое с настоящим, а шов постоянно расползался.

— В молодости в Загорске был у меня приятель, директор музея, а кабинет его находился над ризницей. И был он гуляка, художник, пьяница и говорун, и постоянно у него много народа собиралось на застолья, похожие на тайные вечера, особенно когда ворота монастыря закрывались. Вот так гуляли однажды. Я вышел во двор, и объяла меня необыкновенная тишина, и на душу сошло благостное, кроткое чувство. Кто-то направил меня в часовенку Сергия Радонежского, и мне захотелось стать на колени перед великим святым. Но мешала какая-то смута: может, гул разговора, не утихающий в голове, выпитое вино, неопределенное будущее, какая-то затхлая унывность дней, когда годы друг за другом упадают в пропасть, и ничего не происходит, и жизнь катится зря. Но решился, упал на колени, перекрестился и вдруг заплакал от умиления, от кротости, от благодати, от душевного порыва, от нахлынувшего чувства, что Бог наконец-то открылся и будет возле неотступно... Но прошло какое-то время, и всё потускнело, и Бог отступил. Значит, вера моя была внешняя, а не внутренняя, и если бы я чуть притворился, выказал себя в крепкой дружбе с Церковью, то вполне мог бы показаться глубоко верующим, и все бы посчитали меня искренне преданным Богу, но это была бы та неправда, что хуже воровства, и называется она лицемерием. Вот лицемеры и фарисеи, вновь распявшие русского Христа, и пришли нынче к власти, и побежали вприпрыжку в церкви, как тараканы на сало; отстраивая Божьи дома, кичась этим безусловно добрым почином, они делают русских людей двоедушными и троедушными. Отсюда столько в государстве разврата, цинизма, лжи, душегубства, воровства и подлости...

Глаза Проханова приоплыли, призатянулись блестящей пленкой, готовые захлопнуться от наплывающей слезы, и он, стыдясь сентиментального чувства, торопливо пригубил вина, упрятав взгляд в бокале.

Признание Проханова отозвалось в душе Янина столь отчетливо, с той несомненной правдой, кото-

рую переживал Николай последние годы, будто редактор «Дня» считывал его потаённые мысли, которые было бы неловко открыть на людях. На глаза невольно навернулась близкая слеза, и Янин потянулся налить рюмку водки, но взгляд батюшки остановил руку.

— Но не все же так низко пали, Александр Андреевич, — снова поправил батюшка. — Лиха беда начало, главное — стронуться с места, прислониться к церкви, встать в притворе и почуять сладкий запах кадила, услышать волшебную невнятицу молитвы, увидеть трепетное сияние свечей, принять, пусть и внешне пока, всё то, что зовётся храмом, красоту его, где обитает Бог. Русский народ живёт по поговорке: пришла беда — отворяй ворота. Пока гром не грянул, мужик не перекрестится. И грянуло ведь... Слышите за стенами людской прибой? Господь сказал: не спите, дети мои, ибо все злодеяния творятся в тиши. И проснулись.

— Да не все... Проснувшихся мало.

— Так нам кажется... Смирение не есть покорство, а спящие не есть мёртвые. Достанет миллиона деятельных православных, чтобы Русь проснулась. Больше всего бесов вьётся вокруг золотых куполов... Александр Андреевич, вы очень страстный человек, — заметил отец Дмитрий и, чтобы замять неловкость, торопливо добавил: — Но для писателя это половина таланта... Много хуже, когда человек ни тёпл, ни холоден.

— Ты, батюшка, поэт... Свои глубинные чаяния превращаешь в молитву, и потому народ так тянется к тебе за божественным откровением.

— Ну какой же я поэт, Александр Андреевич, помилуй Бог. — Отец Дмитрий pokrылся румянцем смущения и отмахнулся рукою. — Прямо даже неловко. Я просто робкий, смиренный прислужник Божий. А всё прочее так, для забавы...

— А какая вторая половина таланта? — поинтересовался критик Бондаренко, досель долго молчавший. Всё пытался вступить в разговор, но как-то не было момента. Володя и в самом деле крутился возле церкви, принаравливался к ней, пока робко стоял в притворе, впитывая тёплое дуновение молитвенного ветерка, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, но душа отзывалась лишь ропотом и смутой. Что-то мешало войти в колеблющиеся сумерки храма, к теснящимся поклонникам, гнало на волю. Значит, время ещё не пришло, часы не отбили положенный срок.

— А вторая половина, Володенька, это духовный ум — ум, сопряженный с душою... Его ещё называют — разум. От разума взгляд заостряется, погружается в глубину явления, обнажает его до корней. У Толстого был великий разум, у Пушкина... Святые для России люди, веки вечные будем кланяться им... И страсть, и разум, борясь друг с другом, соперничая, но и подтверждая своё несомненное присут-

ствие на литературной каторге, вместе с натурой и составляют талант, разжигают творческий костерок, но, увы, отодвигают от Бога.

— Разума-то нашему брату и не хватает, батюшка. Одним норовом живём, норовом, как бы везде успеть, — вдруг приоткрылся взволнованный Бондаренко. В состоянии легкого подпития, когда от тревожных событий так раскачалось сердце, готовое сорваться с тормозов, невольно хочется простого доверительного разговора, чтобы от незнания церковного устава невольно не впасть в ереси. А они, эти ереси, так и выются вокруг, подгрызают пяты, словно амбарные мыши, чтобы сокрушить не искушенного в вере человека на колена. — Я вот днями нашел возле метро кошелек. Думаю: поднять — нет? Прямо sacramentalный вопрос. Тугой такой поросенок, с лысым животиком. Наверное, кто-то обронил. Огляделся — вроде никого. И стыдно поднять, неловко как-то хватать чужое. И надо бы подобрать, отдать в метро на вахту, но и сунуть нос охота, что там внутри. С другой стороны, мне мать говорила, никогда не поднимай найденное, ибо, сколько найдешь, столько и потеряешь. А может, и вдвое. Такое поверие живёт в народе.

— Экий ты, братец, шепетильный, — шутейно поддел друга Проханов. — Хвать бы — и дёру. Кто будет искать какой-то кошелек с потёртым брюхом на сносях? Дурак ты, Бондаренко. Ха-ха-ха!

— Тебе хорошо смеяться, Саша. Ты сначала дослушай, а потом и строй свои выводы... Ну, пока я стоял в растерянности, тупо размышлял, глядя на находку, тут и появился этот мужичок в вязаном клоунском колпаке и засаленной телогрейке и спрашивает: «Это что, кошелек лежит? Давай на двоих». Сразу поднял, открыл, а там тысяча долларов, а может, и куда больше. Он так, мельком показал и сунул к себе в карман. Я говорю: неудобно как-то, хватятся, придут искать. Всё-таки большие деньги. «Ерунда, — говорит. — Мы нашли, значит, наш. Главное, рот не разевай, скоро варежку наденут». А я действительно стою с открытым ртом. И тут появляется некто третий в клетчатой кепке... Нос запомнился, здоровый такой, багровым кукишом. — Бондаренко покрутил у лица кулаком. — Ну да, такой будет, с огурец. А мне всё ещё невдомёк, что спектакль разыгран на простака, на русского идиота. Спрашивает: «Мужики, не видали тут кошелька? Я обронил». Тот, что в телогрейке: нет, говорит, не видал. Может, этот взял? — и на меня пальцем. Вот сволочь какая. Я растерялся: да не брал я, говорю... Это ты сунул себе в карман. — «Нет, это очкарик взял, я видел, как он в карман сунул, — это про меня-то. — А ну, верни, мелкий фразер!» И раз, руку ко мне в пиджак. И давай вдвоём потрошить мои карманы, и всё, что нашли, обчистили по нулям, да ещё и пригрозили: «Будешь вякать, заявим в милицию, ворюга, шпана подзаборная. Ещё

очки напялил, скотина». В общем, обложили матом, забрали всю наличность — и в метро. Ищи-свищи... Хорошо, паспорт не тронули.

— И много взяли? — спросил Янин не из интереса, а больше из сострадания, и украдкой погладил греющие бедро денежки, словно бы это он свистнул чужой кошелёк возле метро.

— Да взяли кое-что, прилично взяли. Ну что теперь плакать... — вильнул Бондаренко, скрыв потерю. — Чего вдруг вспомнилось-то? Вот так же ельциноиды околпачили всех нас, от мала до велика. Принцип-то один... Сначала наобещали золотые горы, потом ограбили страну, всех посадили на сухари, а теперь сулят большую порку. Пугают: дескать, если станете противиться, вспыхнет гражданская война, Русь умоется кровью.

И тут неожиданно зазвонил телефон. Проханов послушал, что-то односложно ответил и сказал Бондаренке:

— Пир закончен, пора на бой... Последний и решительный. Эти разбойники сулят Белому Дому большую кровь. Руцкой посылает народ с площади в Останкино, а на Москву идут танки.

Уже натягивая кожан, облакаясь в комиссарскую личину времён гражданской войны, — не хватает только маузера в деревянной кобуре, — лицом смуглый, будто обожженный революционным пламенем, мимоходом, с отсутствующим взглядом, Проханов спросил у Николая:

— Ты где ночевать надумал?.. Если негде, можешь у меня остановиться... Люся примет.

— У Личутина думаю...

— Друзья Личутина — мои друзья... Только, помоему, он у себя в рязанской деревне... Ну а там гляди.

Проханов уже ничего не слышал, посадил багетку и друга Бондаренко в «Жигули», сам нырнул за руль и помчался к Белому дому вершить революцию масс. Но Янина с собою не взял, будто берёг до особого случая иль не видел в нём соратника. В этом людском бродиве, в кишении смятенных, доживающих свой век человек, спешащих по своим муравьиным делам муравьиными тропками, Николай снова остался один.

Глава третья

Янин вышел на «Баррикадной».

У выхода толпился бездельный растерянный народ, потерявший своего вожака; никто не хотел вырваться, как Данко, сердце из груди и осветить грядущую дорогу к счастью, и от того, что пастырь, вожака, атамана не находил, у многих в груди выставлялся особенно тяжкий гнёт, похожий на холодный булыжник, придавливающий душу. Клич был нужен, решительное призывное слово, похожее на

взмах булатного меча, высекающее в воздухе зажигающие искры, чтобы все всполошились, побежали в схватку, куда сердце нестерпимо зовёт. Но воевода не являлся, застрял, родимый, где-то в глубинах России, на неведомом полустанке, — вот и переминались безвольные с ноги на ногу, толкли вялые разговоры с тем особым унынием и тоскою, которые отбирают даже у человека хваткого и беспокойного остатки сил, глядели в верхний конец улицы, вымощенной камнем, в сторону Садового кольца, где тысячеголовою чешуйчатой бесхребетною гидрою, вспыхивая алыми стягами, переливалась волнами людская река, унося с собою рваный встревоженный гуд, словно бы пчелы разом покинули дуплянки и слетелись над Москвою в одно мохнатое сердитое облако, готовые покусать всех, на кого упадёт раздраженный глаз, но и раздумывая, куда бы, в какие бы палестины немедленно отлететь, чтобы поставить новый дом. Можно бы поспешить и тонким ручейком влиться в буйное русло, но напирала грудью ражие детины с автоматами, краснорожие, с ледяными глазами, какие-то по-бабы брюхатые и сисястые в новой униформе, сытые и изрядно захмеленные, и заталкивали, не чинясь, обратно в чрево метро, как в «бисову», ловко выстроенную западню; в это улово сподручно было запускать мелкочаеистый бредень, зачерпывать неудачливых, бестолковых людишек и загонять в автобусы. С этой чертовой государственной силой никому не хотелось связываться, себе станет дороже, вот и толклись у врат в подземелье; здоровье на мели, кости по старости как солома, мясо поиссохло и поиздрябло, но редкий старичонко, бодрясь, сквозь потаённую слезу, не вспоминал сейчас военные годы и былую молодецкую силу, и то бесстрашие — Господи, а было ли оно? — которое свойственно лишь молодым отчаянам да беспечным отрокам, не боящимся смерти.

В сумерках предбанника тихие несуетные разговоры, о чём бы ты ни вещал, походили на поминальную молитовку, теряли свою гипнотическую силу, тут же позабывались и превращались в прах, как вороха последних осенних листьев, опадающих под льдистым ветром на коченеющую землю. Но это только казалось, что сердце не отзывается на корявые обрывистые слова и не впадает в тоску. Они были как дальнейшее отражение тяжелых горестных чувств. Янин не смотрел на говорящих, уткнувшись взглядом в казенную зелёную стену.

«Мы унывать не будем... Надо терпеть. Лишь бы не было войны... Коммуняки вернутся и всё отберут, и поделят меж собой, как в семнадцатом. Говорят, сама слышала по радио, и пенсию отберут, и всех посадят на хлеб-воду и заморят голодом, как Вавилова в тюрьме заморили».

«Дура, кого слушаешь, куриные твои мозги... Дак, в семнадцатом у богатеев своё забрали, что му-

жицким хребтом было нажито. А нынче богатеи у бедных чужое забирают и жрут в три горла и никак нажраться не могут, морды синепупые. А вы: ва-ва-ва. Дикое стадо... Чувствуешь, дура, разницу?»

«Гад Ельцин заставил весь народ по-собачьи брехать. Пора идти в церковь причащаться, грехи отрясать. Говорят, скоро конец света будет!»

«Хасбулатов-то молодец... Как в той песне поётся: «Хас-Булат удалой... Бедна сакля твоя...» Видишь, свой, деревенский, из нашего порядка, не будет величиться. Поставит всех негодяев по струнке, наведёт порядок».

«Ага, держи карман шире. Научит шилом супясти. Правил грузин, пролил кровушки, по колена в крови бродили. Теперь чечен станет править. Взгляд-то волчий, уж прямо по-людски не взглянет, всё из-под лба. Как уставится, проклятуший, мороз по коже, насквозь прожигает. Втихомолку-то вон на какую высоту вызнялся».

«Но Руцкой-то русский...»

«Ха-ха, нашла мне русского. Яврей он, вот те Бог. На роже написано. Будут править яврей с чеченом. Любо-дорого».

«Хасбулатов-то сказал: министры — червяки, а их чиновники — тараканы, в любую щель пролезут. Ловко их посадил. Не в бровь, а в глаз».

«И напрасно обозвал, потому что без понятия человек, только с гор сполз, уши обмороженные. Соображать надо: каждый человек имеет свой образ, если приглядеться: кто козел, кто осёл, кто мартышка. Да и какой червяк из Гайдара? Вон пузо-то наел, и щёки из-за ушей со спины видать. А Полторанин чисто кулак-мирод... А эта гнида Барабулька, что стул подаёт Ельцину под зад. А Чернобырдин, злодейская морда, только из-под земли вылез и помыться позабыл. Бесы-то никогда не моются, у них в заводе такого нет, чтобы себе рыло скоблить. Одного беса спросили: ты моешься ли когда, нехристь такой? Говорит: летом купаюсь. А зимой? А велика ли та зима-то... Ха-ха! Вот она, окаянная нежить. Хоть стой, хоть падай. А на Руцкого глянь: как вздынет усы, как пошевелит, ну чисто таракан-тараканище, и давай правду-матку резать, пока не упадёт с перепугу. Отоспится, опомнится — и лапки кверху, отход на запасные позиции, простите, дескать, обмишулился, не то сказал. Одно слово — военный, а военным доверять управу нельзя, у них вся мысль в одном месте, не выше задранной ноги на плацу. Ать-два — вот и весь ум. Выпугал Эстонию, дескать, без нас и двух недель не протянете, а эти чухонцы живут в сто раз лучше нас, да и в ус не дуют. Это русский Ванёк ремень на последнюю дырку затягивает, брюхо с хребтиной срослось. Приехал Руцкой в Израиль и вдруг хвалится на голубом глазу: «Я горжусь, что во мне течёт еврейская кровь. Во как... Оказывается, мать еврейка».

«Да полно врать-то, Иван Лаврентич».

«Вот те... Умереть и не встать... Сам по телеку слышал. Ну как тут принимать на веру человека, который ползёт во власть, надсажаясь, со своими двенадцатью чемоданами компры, угрожает всем, словно в них двенадцать бомб, но не решается открыть хоть бы один, и так на каждом шагу, круть-верть. Вытащил Ельцина за уши из отстойника во власть... Нет бы утопил гамадрила, туда ему и дорога, треклятому сатанаилу, так нет же, вытянул на вершину обманкою и всех провёл вокруг пальца... А сейчас на Кремль зовет с дубинами и вилами. Есть — нет ум у него? Тот... И твоих коммуняк надул, пока парили яйца на печи. Вот увидишь, дура стомоногая, стащут все чемоданы у него из-под носа, как слямзили у Горбача его ядерный чемоданчик, пока летал в Форос, и отморозили «лучшему немцу» последние мозги».

«Тише ты, тише, Иван Лаврентич... Поменьше болтай-то... Распоясался. Заберут мордовороты — и где тебя после искать, а?»

Разговор сошел на шепот, за спиной началось какое-то шевеление, толпа сначала нерешительно, а после со всей внезапной отвагой ринулась в дверной проём, чтобы успеть к обещанному калачу, и скоро источилась, словно весенний водяной прыск. Иль надоело «казенным людям» караулить, иль по неясной команде убрили по своим тайным делам, не докладывая народу, но только москвичам неожиданно дозволили распоряжаться свободой.

Последняя ухваченная фраза застряла в голове, и Янин с необычной зоркостью, свойственной русским литераторам даже средней руки, разглядел беду, которая стояла у порога и приглядывалась к жертвам, добровольно стекшимся со всех окраин Руси. Дураков-то не пашут и не сеют — сами рождаются; прискочили, блаженные, на смерть, запыхавшись, будто на встречу с Христом.

...«Заберут мордовороты — и где тебя после искать?» Вот она, бабья думка, смотрит в небеса, как в волшебное зеркальце.

Действительно, в этой суматохе если кто-то и хватится опосля, то где искать твои следы, Коля, в этом Вавилоне, в одночасье утратившем Христову любовь. Ссыплют золу из крематория в общий мешок и рассеют по полям для удобрения. Какой чиновник станет тратиться на гробишко, на окраек земли под могилку, ибо все деньги уже приватизированы и давно отправлены по нужным адресам.

Господь на небеси, конечно, всё видит, но дьявол-то скотинку здесь, на земле, пасёт: одну душу Богу отпишет, две зачеркивает в свой прибыток, чтобы прислонить под свою руку. Поди уследи за сатаной.

Янин невольно сунулся в карман; мощна с деньгою приотпотела, осклизла, но была на месте. От неё наплывало нехорошее, опасливое чувство, и Коля решил, что надо срочно от прибытка освободиться.

По дороге услужливо попался магазинчик ритуальных услуг, ну прямо сам сунулся на глаза. На крыльце Янин приосмотрелся, не решаясь войти, ему казалось, что все смотрят на него с жалостью, как на подписавшего земной обходной лист. Вдруг за два квартала раздалась беспорядочная стрельба, словно крутили трещотку. Янин отслужил в пехоте, и сухой отрывистый звук автоматной очереди был ему хорошо знаком. Сейчас кому-то поставили кровавую подпись под завещанием. Эти выстрелы касались и его. Холодок пробежал в груди, и возникло странное чувство приближающегося последнего отсчёта времени. Ведь с этим настроением Янин выехал из деревни, и оно никак не хотело забыться. Глупость, скажете вы, просто втемяшилось человеку в голову, бывает же и такое, словно вбили в темечко гвоздь и вроде бы не так больно, и жить можно, но что-то несуразное, непонятное мешает и никак не освободиться от блазни; какая-то мистика, черт возьми, ведь Янин жил так далеко от поля боя, никому ничего не сулил, не обещался в помощь, да и сейчас никто не тянет на бойню, подскочил на ближайший поезд — и «ауф-видерзейн, я ваша тётя», лепите пельмени из человечины, но только, пожалуйста, без меня.

Но Янина уже кто-то крепко уцепил за руку и потащил, завладев его волей.

Николай зашел в магазинчик необходимых последних услуг, превращенных в товар. Это в деревне люди живут и без этой гробовой лавки. Сосед-плотник сколотит за бутылёк домовинку из тёса, что припасён хозяином на подволоке; два мужика выроют ямку, старуха обмоет «упокойника» и отчитает, хозяйка сварит поминальный обед из того, что нашлось в кладовой, а винишко уже загодя ждёт гостей. Всё как из веку ведётся на земле, и нету в заведённом предками уставе никаких «загогулин».

Ну а город, особенно столичный, где столько сбилось люда, и надо всех обслужить, до последнего часа обирает человека, берет с него похоронную копейку в налог и нажиток. Покойник — доходный товар, это громадное предприятие государственного масштаба, вокруг которого колготятся сотни тысяч жучков-паучков и ткнут свою ненасытную паутинку.

Янину открылась чудная живописная картина, пахнувшая свежим лаком, красками, растворителем, древесиной, крашеной жестью, искусственными цветами и неуловимым запахом тлена, словно бы продавцы только что вернулись с погоста и принесли дух упокойника на испачканных глиною башмаках. Но у Николая не было настроения, чтобы шарить глазами по выставке погребальных услуг, и слегка охрипшим голосом он попросил обслужить без промешки, чем слегка ошарашил продавца с интеллигентным, но слегка пропитым лицом.

— Кому заказываете гроб? — спросил тот.

«Наверное, из бывших литераторов или бухгалтеров», — подумал Янин, не углубляясь в предположение: мало ли что взбредёт в голову.

— Себе, — ответил Янин, на миг споткнувшись. Он и не уловил того мгновения, как из покупателя перешел в товар, превратился в некую послушную субстанцию, которую можно отлить в новые формы и переселить в недоступные миры.

Острые скулы продавца порозовели от внутреннего возбуждения, но он ничем не выдал своего удивления. На его глазах гибла Россия, и, когда овраги заполняются сонмами усопших, вовсе не диво, что какие-то чудачи выходят на сцену и заявляют о себе на весь мир; но их, увы, никто не слышит, кроме гробовщика.

— Ваш паспорт. — У продавца было строгое деловое лицо служивого, приступившего к исполнению заказа. — Рост примерно метр семьдесят три...

— Семьдесят пять, — поправил Янин, заражаясь от мастерового спокойствием.

— Сделаем метр восемьдесят пять. На вырост. Не смейтесь. Да-да... Ботинки, то... другое. Остеохондроз, ревматизм, сколиоз... А что? Он тоже убирает длины. А так спокойнее лежать. Можно разогнуться и вытянуться.

Янин с внутренним страхом оглянулся, словно речь шла о ком-то другом. Ему стало жутковато. Но это было секундное замешательство.

Где-то невдалеке вспыхнула стрельба, кто-то пронзительно, по-заячьему заверещал.

— Опять стреляют. Вот так целый день. А нам работа, — буднично заметил продавец. — Вам какой?.. Морёный дуб, из сосны, глазовый, с фестончиками, или попроще, простонародный, чтоб подешевле?

— Проще и чтобы все услуги... Подсчитайте. Во сколько встанет.

— Вам никто не говорил, что вы похожи на царя Николая Второго перед расстрелом? — вдруг спросил гробовщик, и Янин от неожиданного вопроса вздрогнул. — Может быть, вы его родня по английской линии? Там, в Британии, кажется, кто-то остался и нынче метит на русский престол. Самое время. Место-то пустое.

Шаркая домашними тапками, гробовщик обошел Янина, осмотрел со спины, прикинул плечи.

— Кость сухая, но широкая... Вы, наверное, к Белому дому? Разумно, совершенно разумно. Самое время...

— Что самое время?

— Ну, закопать там, выкопать... Время такое нервное: одни из-под земли наружу лезут, другие в землю. Круговорот людей в природе... Работы — непочатый край, но я этого не касаюсь. Там мистика, тьма, с ума сойти можно. Я больше по эстетике, можно сказать, художник.

— Философ, что ли?

— Можно и так сказать... По частностям — да... Но философия груба, лишена совести и стыда, оттого и пошлая, как автоматная очередь... Это жизнь нас заставляет крутиться, чтобы не сделаться петрушкой для новых господ. Как-то надо вывернуться из кулька в рогожку, чтобы не угодить под прицел. Ума, конечно, особого не надо, но ловкость рук нужна. Вот я, к примеру, был теплотехником, профи, ведущим специалистом, строил самолёты; завод закрыли, народ распустили во всех смыслах, теперь я сколачиваю ящики под любой фасон. Вот философы сразу поют: крутись, де, меняй профиль, жизнь тебе даёт шанс, всё про удочку говорят, де, лови удачу, а если я не рыбак? Там как: сел на пенёк, наживил червяка, забросил под кустик, где сидит шелепёр, и жди. Вот так... А голову куда деть? Целый день смолить сигаретку до посинения? А мысли, а душа, а слёзы верности и смех радости? Нет-нет, мне удочка не нужна, пусть те, кто похитрее да понаглее, пользуются, эти рыбачки знают, в какой золотой водоём снасть подкинуть да что наживить. А я вернее руками заработаю. Покойника ведь не надуешь.

— Ещё как можно, — возразил Янин.

— Это живого обдирают как липку, а не жмурика...

Продавец покрутил ладони перед лицом, удивляясь, наверное, изяществу длинных тонких пальцев с твердыми, набитыми до мозолей, подушечками. И отбил барабанную дробь на ближайшей крышке гроба.

— Чувствуешь, милый, как мелодично отзывается, какая глубокая и тонкая душа у кипарисового дерева. Песня... Может, в нём певун замурован... Но станет дороговато. Лучше сосенку-сосёнку, всю в янтарной смолке. Дышать не надыхаться, какой запах. Дуб, тот аптекой пахнет. Голову будет душить.

В глазах у гробовщика вспыхнула странная всполошливая искра, он закашлялся, наверное, подавил слюной.

Эхма, ну зачем писателю Янину, для какой нужды дан такой пронзительный, колючий взгляд, который так и нудит добыть в собеседнике изюминку. На кой ляд она нужна, далеко упрятанная, уже пересохшая, с легкой гнильцой; не плов же варить, в самом деле? Было бы мясо, из хорошей говядинки поварёнок черт знает что может сообразить...

В голове у Николая всё вскружилось, заиграла тягучая сладкая музыка — жалейка, свирелька или скрипочка, поди разбери, — гробовая посуда тесной стеною обступила Янина, и он чуть не пропал в чаштоколе домовинок. Обнаружилось вдруг, что нечем дышать, грудь закаменела и вовсе остыла, как камень-баклан, — настолько воздух был пропитан тоскою и скорбью и напоминал вязкую дурманную настойку из сушеного мухомора, смешанную с малиновым медом, которой можно легко отравиться. Поди, потом, судись, дескать, не тот товар подсунули в ритуальном магазине.

Янин встряхнул головою и очнулся. Оказывается, он спал стоя, как лошадь. Голова была уронена на грудь, шея затекла, и так нехорошо ломило в затылке.

— А рулить надо с ясной, трезвой головою, иначе не туда заплывёшь в том океане, куда соизволите скоро угодить, ваше величество, — бредил продавец, верша мерные круги вокруг Николая, как бы обматывая его члены просмоленной веретёнкой. Он оказался удивительно словообильным типом, скорее болтливым; наверное, от одиночества в молчаливом зазеркалье в дневные часы подневольной службы его тянуло вернуться к людям живым. Снова, сплевывая на пальцы, перелистал паспорт, повернувшись к окну, просмотрел на свет блеклые печати, место рождения: Красная Горка, Вологодская область. — Николай Александрович, прими мой дружеский совет... Все поспешают, и надо догонять. Никого не жди. Не отставай, милый, не отставай от своей очереди, ибо сзади никого и ничего, все ушедшие впереди. А позади варево. Слышишь, улово булькает, пузыри пускает, и никто не знает, что всплывёт завтра, какая дикая сила.

— Вы можете поскорее? — огрубляясь, перебил Николай. — Меня ждут.

— Ничего... подождут. Вам повезло, сегодня очереди нет. А завтра будет битком. — Гробовщик снова остро, вязким взглядом приценился к Янину. — А куда изволите лечь? Востряковское, Новодевичье, Переделки... Ваганьково... Рогожка хороша... Можем и в Кремлевскую стену. Ещё есть места. Это совсем рядом. Но дорого, товарищ, очень дорого. Осилите?... Деньги назад мы не возвращаем...

— Лучше сразу в Мавзолей... К Ильичу. Ему одному скучно. — Янин противно захихикал. Продавец обиделся, посмурнел лицом, глаза остекленели, покрылись ледком.

— Вот вы смеётесь, а зря... Ленин был выразителем эпохи.

— Ленин был отравителем русского мира. Он всех загнал в отстойник. Это его упыри вылезли сейчас из подземного ада.

Янин искоса взглянул на чек, кинул на стойку пачку денег, ещё половину отслоил от другой и, прихватив расписку, вышел из «Ритуальных услуг». Теперь за будущее он был спокоен; осталось лишь последний «божий подарок» отослать жене на помин души. Где-то вдали, за домами, прошла тишину длинная пулемётная очередь, за ней другая, тягучий предсмертный стон вместе с ветровым вихрем пронёсся над Москвою и, запутавшись меж крыш, свалился в каменные провалища, на истерзанную землю, растворяясь в маслянистых водах реки. Николай насторожился, затаился под аркой, тут с присвистом чиркнула пуля, разбила окно напротив, посыпалось стекло. Приоткрылась балконная дверь, высунулся любопытный человек в пижаме, и тут же из глубины

комнаты завопила испуганная раздраженная женщина: «Ваня, закрой окно! Сколько тебе ещё говорить!» Над городом стали собираться тяжелые тучи, опажнуло мороком, гарью, человеческой надсадой; Москва сразу потускнела, опростилась, потеряла внешний блеск и лоск, наружу вылезла вся застарелая грязь, тщательно скрываемая временщиками.

Мимо, по-хозяйски вышагивая серединой дороги, вихляясь под чужеземную музыку, проплыл табунчик прилично одетых парней в черных кожаных плащах, с длинными футлярами, в которых музыканты носят флейты, а киллеры — снайперские винтовки. Янин погодил и, не раздумывая, зачем-то потянулся следом, как шпик, пригорбившись, упрятал голову в воротник. Ветер задувал в лицо, сразу опажнуло пряной чужечиной, стойким кошачьим духом заморских притинок и снадобий. Кто-то из волчьей стайки выкрикнул зло, резко, неприятным визгливым фальцетом, чувствуя свою власть: «Черномырдин сказал... Никаких переговоров! Надо перебить эту банду... Чтобы ни один не вышел. Мы им покажем кузькину мать. Правильный мужик, с мозгами. Хоть и морда чёрная, но и меж мордвы попадаются умные. Правда, редко... Кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Кто сказал? Правильно. Я сказал. Хватит давиться соплями. Каждого десятого к стенке. И превратить в бутерброд с красной икрой. Иль мы их, иль они нас. Никаких сантиментов. Враг хорош только мертвый. С быдлом можно разговаривать лишь на языке пули... Вжик, вжик — и покойничек; вжик-вжик — и в ящик: плыви, сука, в ад, там тебя встретят... Друг Красавченко, плесни на уголки, что-то стало холодать».

— «Но патриарх заявил, что первым прольет кровь, будет предан анафеме». — «А наср... нам на их бесноватого. Надо будет, снова распнём, гвоздей жалёных хватит... Красавченко, урод, свинья жидовская, уморить нас вздумал? Я нажалуюсь Гозману, что ты штанов не стираешь, скотина, весь провонял. Наливай кровцы, дикий человек, чтобы сердце запело победу. «Иди на схватку, проклятый рус! Какой ты воин, ты жалкий трус». Завтра мы нарежем из вас ремней! Слышите, уроды?! Друзья, никакой слабости в членах, иначе эти тупые красно-коричневые ублюдки всех нас перешелкают из-за угла... А-а-а, попрятались, сволочи! Ха-ха-ха».

Хасид оглянулся, стянул с косматой головы широкополую шляпу, остановился, всматриваясь в Янина, наверное, принял за своего: «Эй ты, х... моржовый, морда иудейская, выпей с нами». Янин, не отвечая, резко вильнул в проулок, побежал, затерялся среди машин, спрятался за мусорным ящиком, нечаянно наступив на крысиный хвост; помочная простушка простонала, вцепилась зубами в ботинок, а получив свободу, стая, скрылась в норе. Николаю недолго свистели вслед, что-то орали непри-

стойное на тюремном жаргоне, — так показалось ему, — но скоро отступились, разложили снедь на капоте «жигулёнка» и стали пировать. Куриные кости пролетали мимо, как осколки взорвавшейся мины. Всё случившееся казалось опереткою, дурно скроенной «киношкой», нелепой хмельной игрою загулявших артистов. Невдали бестолково, перебивая друг друга, гундели, похваляясь, янычары, добывали спиртной запас, вовсе не торопясь по «служебным» делам, значит, ещё оставалось время разбежаться по гнёздам и настроить прицелы. Кто-то настаивал закрыть попойку, дескать, рука с утра дрожать будет, а отполируем коньячком после, когда кончится работа. Гайдар обещал поставить, а он слово держит. Но его не слушали. Последняя бутылка откатилась под колёса, закрутилась, словно граната, готовая взорваться возле Янина, засолодились, заширкали вразброд по асфальту армейские тяжелые ботинки — и всё стихло во дворе. А по Садовому кольцу всё шел и шел накатами праздничный, взбудораженный, воистину счастливый московский люд, хмельная радость от лёгкой победы переливалась через край, совалась в переулки и дворы и там иссякала в глубь сумрачных подворотен, где хасидские штурмовые отряды выстраивали глухую оборону. Но радость торжества запечатывала народу глаза, пьянила, отнимала ум и прозорливость. Руцкой, заслоненный броневыми щитами, недовольно отбиваясь от защитного заслона, в упоении и восторге кричал с балкона, взмахивая рукою: «Все на Кремль!.. Все на Останкино!» — «Ур-ра!» — кричали простецы, проходя полками и дивизиями, взглядывая с любовью на своего нового вождя, уже забыв про его двенадцать чемоданов с компроматом. Ибо от ненависти до любви тоже один шаг.

Янин, унимая невольную дрожь в руках, взглянул на часы: было без пятнадцати шесть. Столько всего случилось невероятного, а день третьего октября девяносто третьего года никак не кончался, словно заколодило на небесах, и дьявольский запад никак не привечал солнца, не упрятывал его в своих запасниках, иль ярило не собиралось нынче укладываться на ночевую в гнилой угол, в затхлую постель. Вроде бы всё исполнено, ничто не забыто, полная свобода от здешнего окаянного мира перед вечным забвением, но какое-то внутреннее стеснение, непонятная тревога угнетали Янина. Виною были лихие, случайные деньги в нагрудном кармане, неотступно напивавшие на сердце.

Что за плату в газете «День» вручил Янину этот странный, спосыланный из тайного мира человек, и тут же пропал, за какие такие будущие добрые дела эта мзда, иль просто случайная некорыстная милостыня нищему прошаку, неудачнику лишь из жалости, человеческого сострадания? Проходя мимо, достал из чемодана три пачки в банковской упаковке и

кинул под нос, будто кость голодному псу. Но ты-то, забытый всеми литератор, чем недоволен? Может, ангела не разглядел, который тебя пасёт посреди русских руин, а ты ещё и возроптал на него. А может, это был сам Христос, от которого ты бежишь, Христос, приодетый русским совестливым богатеём?..

Дурень ты, Коля, жалкая ветошка, вехотёк, небрежно кинутый у подъезда богатого дома, чтобы не наследили явившиеся в мир новые наглые люди. Да, у них, ловкачей, проходимцев и процентщиков, другие одежды и вкусы, иные изысканные манеры, ухоженные руки, сполоснутые французским парфюмом, они знают, как ловко окрутить ближнего вокруг пальца, оставить с носом, не замарав своего благородного имени. Революция, удивительно пошлая по своим тайным замыслам, штампует новых флибустьеров протестантской огранки, циничных и наглых стяжателей, фарисеев и книжников, лишенных души, куда посторонним, с их жалостью и состраданием к униженным, место заказано, и вот от того, что пути в их ряды перекрыты, а двери захлопнуты на крепкие засовы, ты и бунтуешь, тебя, наверное, грызёт зависть, терзает окаянная мысль, что ты снова сброшен с обоза в овраг, в сыпучие снега, откуда не выбраться.... Нет, нет, нет... Только не это. Тыфу-тыфу на вас, окаянные бесово отродье!

На улице Горького Янин зашел на Главпочтамт, отправил последние деньги в Ижму жене и дочери и вдруг успокоился, лихорадка, эта десятая иродова дочь, пропала. Николай случайно разбогател, расстряс все денежки и снова стал беден, гол как сокол. «Ведь у гроба карманов нет и на том свете ничего не понадобится. Человек приходит в этот мир голым и голым уходит», — сказал Янин себе. Ещё раз проверил паспорт, похоронную квитанцию, уверился, что ничего не пропало: страшнее всего, казалось Янину, умереть под забором, иль тлеть где-то в сточной канаве, иль в общей яме, засыпанной известью, как последняя падаль. Николай не мог бы объяснить, откуда взялась в уме эта блажь, эта литературная забава — закруглить жизнь свою именно на московской улице. Он споткнулся о замысел в своей бедной изобке, в глухом лесу, и отправился в столицу на битву с сатаной. Он чувствовал его близость, его смрадное дыхание в затылок, терпел невыносимую, вроде бы беспричинную боль в сердце, боль от сострадания и жалости к несчастным, умирающим от тоски. Янин выстроил последний сюжет и готов был исполнить его, даже кинув на произвол судьбы самых близких ему людей; зачем им тащить на своём горбу дополнительную торбу, несносимую обузу, такого неудачливого, бездельного, грешного человека, который ничем не может облегчить их ношу.

«Доченька, Настенька, дорогая, прости меня, когда вырастешь, негодяшего и скверного, — взмолился Янин, истово перекрестился на ближние ку-

пола, на которые легла последняя позолота ликующего солнца. — Даша, милая, прощай!»

А радостный народ под напором неясного сердечного восторга всё спешил к Останкино, как на заклинание, чтоб возлечь на русский жертвенник народных печальников. Мимо с открытыми окнами неспешно катил грузовик, люди в кузове пели «Катюшу», какой-то счастливый мужичонко растягивал мехи гармоники, с тротуаров машину осыпали цветами, Янин спохватился, очнувшись, догнал авто, вскочил на подножку, но кто-то невидимый отпихнул его локтем, шепнул: «Рано, Коля, ещё не время». Янин спрыгнул назад в людской поток, он словно бы искал последнее место, где погибнуть, поставить корявую завещательную подпись.

Были sireны «скорой помощи», взывая о сострадании: от Останкино вывозили убитых и раненых.

«И я бы мог оказаться среди них», — машинально подумал Янин, провожая взглядом медицинские «кареты», и скоро сбился со счёта: урожай собрали обильный. Но стрельба не прекращалась, она вспыхивала по окраинам столицы со странным рассыпчатым грохотом, словно работали градирни, обдирающие камень, иль песты толклись в медных ступах, перетирая кофейные зерна. Донесся слух от окружающей дороги, что там только что расстреляли роту солдат, шедших на помощь Руцкому. Иные горько восплакали, встретив печальное известие, другие ухмылялись, злорадно потирая руки, обросшие шерстью: так и надо этим «лузерам». Тупые скоты не понимают глупым умом своим, что власть берут не для того, чтобы отдать. Возле Моссовета асфальтовый фермер Черниченко, потрясая автоматом, ревел в мегафон: «Раздавим гадину!» — «Раздавим!» — орала уже захмелевшая толпа новых мещан, лавочников, процентщиков и бюргеров и, покачиваясь, легко переходя на «семь-сорок», пела: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Священник Якунин, с блестящими выпученными глазами, заткнув еломку за кожаный пояс, вскидывая полы подрясника, совался в демократическую гущу и, энергично работая локтями, тыкал для поцелуя серебряный нагрудный крест, больше напоминающий латынский «крыж» иль булатный кинжал тайного «розенкрейцера». Тут в мегафон радостно вскричали: «Едет, едет!»

Янин стал озиаться, отыскивая причину неожиданного восторга, словно бы с небес сошел сам Яхве с новыми скрижалями. А появился всего лишь плотный коротенький человек в сером плаще с головой дынькою и чувственно вырезанными кукольными губками. Рядом с Гайдаром шел тощий субъект с изможденным старообразным лицом, наверное, протестантский духовник Ельцина; он деликатно придерживал тучного вице-премьера за локоть и заиски-

вающе, изогнувшись по-рысьи, заглядывал споднизу в лицо спасителя России; сзади их сопровождали два насупленных угрюмых гамадрила, выпущенных на вечер из зверинца, с чемоданами в иностранных наклейках. Только что Егор Тимурович приватизировал в Госбанке миллиард рублей и прикатил к Моссовету благодарить своё наёмное войско.

«Господа, спасём нашу родину, не дадим погибнуть от рук варваров!» — зычно воззвал, причмокивая, Егор Гайдар.

«Не позволим!» — дружно отозвалась остервенелая демократическая публика, пришедшая отдать жизнь за кулебяки с севрюжатиной, которые русское «быдло» собиралось вырвать из рта.

«Один за всех и все за одного!» — дул в мегафон спаситель отечества.

«В капусту «лузеров»!.. Всех в капусту! За Ельцина! С нами Бог!» — грозно рычала толпа «винеров».

«Больше мужества и организованности. Вся ответственность сейчас на вас!» — зажигал толпу вождь, вскидывая поверх голов пухлую короткопалую руку.

Гайдар в какую-то минуту оказался возле Николая, словно бы отыскивал именно его; бросив взгляд на неряшливо одетого мужичонку, главный «винер» России вздрогнул, отшатнулся, дряблое жирное лицо покрылось нездоровым потом. Но Гайдар справился с собою, улыбнулся и властно приказал помощнику:

«Подайте этому... Товарищ, вы с нами?» — спросил вице-премьер, причмокивая, будто раскушивал ещё живую писклявую устрицу, доставленную самолётом прямо из Парижа, приглаживая прядку седеющих волос, неряшливо сползшую с лысины на ухо.

— Царь... Николай Александрович, вы как здесь оказались? — спросил кто-то требовательно из толпы и грубо потянул за рукав. У человека было широкое восточное лицо с узкими, глубоко спрятанными под веки глазами, из-под расшитой тюбетейки высывалась тугая косичка.

— Янин, ты что, зазнался? Меня не узнаешь? Марата Схубию помнишь, в семьдесят третьем мы встречались у Ратнера, играли в шахматы на интерес, и я тебя три раза обставил?

Восточный человек гулко захохотал, запрокидывая голову, заколыхался огромный живот, покрытый широким бархатным камзолом, рот был богато уряжен золотыми зубами. Схубия наклонился к Янину и, дыша чесноком, зашептал:

— Царь, эти акулы сожрут тебя. Мотай отсюда, пока живой...

Янин оглянулся, Гайдар со свитой уже отдалился, к нему тянулись жадные руки, хватали за полы макинтоша, рвали деньги, целовали в лысину. Гайдар же расцветал, лицо надувалось, готовое лопнуть, принимало все цвета побежалости, от льняного до

багрового, плутоватые тёмные глазки горели тем вожаемым огнём счастья, какое иногда посещает человека лишь в минуты самообожания и удивления собою. Толпа вместе с сумерками густела, словно бы те, кто боялся света, наконец-то осмелились выползти из подвалов и каменных теснин, а с ними из переулков вытаивались молодые, армейской выправки, жёсткие и жестокие парни в суконных черных шляпах, при пейсах и бородёнках; они тащили магазинные тележки на колёсиках, полные заморских закусок и русской водки. Кто-то бросал в воздух жмени бумажных денег, зачерпывая из чемодана, и они при свете фонарей кружились, как алчные клювастые воронята, присаживаясь на головы подгулявшей сытой публики, с нетерпением ожидающей крови и зрелищ. И, как по мановению руки, вдруг загремела электрогитара, сотрясая воздух, и, приседая, взбрыкивая по-лошадиному ногами, пошли кудлатые юнцы по кругу.

Янину протянули стакан с водкой, накрытый толстым ломтем ветчины, он оттолкнул руку и нырнул в толпу, просочился в дальний угол площади, где тёмные личности раздавали автоматы, насыпали в авоськи патроны, а оттуда, часто озираясь — не преследует ли кто? — переулками потянулся к Верховному Совету. В воздухе удушливо пахло порохом, кровью, тленом, апокалипсисом; позади, на улице Горького, грохотало, гремело, это «защитники демократии» стаскивали мусор и городские отбросы, взламывали тротуарную плитку, снова строили кукольные баррикады против «красно-коричневых лузеров».

Напротив Дома Советов, прижатаившись в тени, торчал какой-то одинокий несчастный старик с лицом древнего пророка, бежавшего из Египта, с сильно скошенным к затылку лбом и седой бородёнкой; обливаясь слезами, он крестил умолкнувший к ночи обреченный Дом, освещаемый нервными сполохами бегучего пламени, и бормотал: «Бедные мальчики... бедные мальчики. И постельку-то пуховую я вам уже выстелил в Христовых покоях, и подголовнички-то там из лебяжьего пера, и шириночки с кружавчиками. Не пугайтесь, жертвенные агнцы, я с вами, не успеете охнуть, а уж душа-то и в раю».

Покосившись в его сторону, но не замедлив步子, ощущая спиною враждебный взгляд караульщика-подговорщика, Янин проник в прогал спирали Бруно, по которой (так почудилось Николаю), как по бикфордову шнуру, змеисто бежала, сухо потрескивая, прерывистая электрическая искра; начало и конец круга жизни окончательно смыкались. Ещё секунда — и взрыв, и всё рухнет в тартарары, к чертовой матери, в Аидовы чертоги, в содом и пекло, в гости к Гоге и Магоге, где и примутся сортировать их жертвенную пыль по грехам. И не диво ли, что никто Янина не остановил, словно бы поджидали только его; будто намёрзшаяся, раздраженная тысячеголо-

вая солдатская гидра, окружившая в три чешуйчатых бронированных кольца Верховный Совет, понимала, из-за кого она изнемогает уж которые сутки впроголодь, знала, по какому случаю этот мелкий бородастый человек, такой ничтожный внешне, обычный провинциальный бомж и прошак, спешит в погружившийся в угрюмое молчание, похожий на айсберг, одинокий Дом, где блуждают по этажам, как бабочки-перхотницы, трепетные тусклые огоньки свечей. Нет, братцы мои, есть судьба на свете, есть, пусть и неведомая нам, но уже излаженная от первой до последней буковки, которая хранится до крайней минуты в сейфе у Господа Бога за секретным замком; не ведая о таинственной судьбе, мы можем слегка подправить её искренними неустанными трудами, кривое выпрямить добрыми поступками и русским «авосем»; верно, что с ней, уросливой и гневливой, не повздоришь ради беспричинного спору, живо она даст тебе укорот, вставит палку в колёса, и даже если захочешь увильнуть, она исподовольки, где-нибудь так ловко прищучит тебя, приневолит невидимыми наручниками, что ни вздохнуть ни охнуть...

Как бы вступая в ворота кладбища, Янин поогляделся по сторонам, чтобы запечатлеть последнюю мирную картину: словно древние ящеры, громоздились танки, хищно вздрагивая хоботами пушек; остывающую в ночи броню облизывал мертвенный блуждающий свет прожекторов — наверное, ретивые генералы-шкурники, не веря в Христа, отрабатывали иудин кусок пшеничного хлеба, вновь пересчитывали наличие солдат, готовых отдать жизнь за уральского самозванца, этого Змея Горыныча, выползшего из чрева сказочной бажовской Горы вместе с Егорушкой, где в огненном пекле выпекаются новые змеиные омоны.

За жиденькими баррикадами уже которую ночь томился народ, уповая на Божью помощь и неизбежный русский «авось». Вспыхивая и замирая, горели костры, пламя, раздуваемое ветром, пугливо выхватывало полыньи черного неба, солдатские каски по ту сторону народной защиты, «броники» Таманской дивизии, глиняные лица новобранцев, похожие на посмертные маски с глубоко проваленными глазницами. Янин обвёл взглядом площадь и был изумлён, сколько православного народу томится под стенами, обреченно ждёт участия, как агнцы перед закланием на чужом алтаре, мучимые неясной идеей, тщетной надеждою пересилить черную немочь своей жертвенностью, готовностью к подвигу, тем, что прежде притаивали, не решались выставить для похвальбы, словно бы уже подведен итог в небесных списках, осталось лишь с утра оттиснуть синие кляксы безжалостных печатей. Янин и сам невольно заражался этим настроением, он уже благодарил судьбу, что подвигла его к поступку, пусть и единственному в его

бесцельной жизни, когда всё складывалось не так, как мечталось сызмала, — оказаться нынче в бурлящем вареве человеческих страстей и наконец исчезнуть в победительную минуту, когда «на миру и смерть красна», а не прозябать на таёжном полустанке, когда все поезда мчатся по расписанию, но всё мимо, мимо, и ни один не затормозит, не споткнется хоть на мгновение, не пригласит на подножку и не увезёт в даль полуночную, где люди иные и живут по-иному. Годы катились с горки, а Янин всё в прежнем ожидании, и вот он оказался в столице, полагая, что выпал единственный случай слиться с русским народом в одно тело и ощутить его потаённую силу. Да здравствуют Стенька Разин и Емелька Пугачев, христовы воины, не ржавеющий огненный меч Иисуса, отнявшие взор от брэнной земли и устремившие его в небо, где в хороводе звезд толкует о грешной земле Святая Троица и составляет списки героев.

...Сама обстановка навеивала военную картину Куликова, Бородина, тех тысяч военных привалов за сотни войн, когда приуготовлялся русский солдат к последнему в жизни утру, перебирая в устах молитву, а в сердце теша уверенность, что всё будет хорошо, всё случится ладом, и будущее впереди бесконечно, главное, чтобы нынче не спасовать, не отпраздновать труса, облечь себя в брони мужества, и тогда Мати Пресвятая Богородица конечно же не оставит без спасительного прикрова. Это кого-то другого снесут под крест на Красную горку, а у него, у нашего солдата, всё будет в самую тютельную, «чики-брики», и ангел не покинет его в крайнюю минуту. Воистину тут, под стенами Верховного Совета, решалась судьба Отечества, и площадь, освещенная кострами, носила на себе подробный отпечаток грядущего сражения; битва ещё не случилась, она была лишь в умах презренных кремлевских чиновников, не нюхавших пороха и оттого особенно азартных, рискованных, мечтающих об орденах и эполетах, хмельных от чужой безответной крови, которую нынче предстояло пролить, не получив за неё осуждения и расплаты; право распорядиться чужой жизнью незаметно вытравляло из груди последние капли жалости, которая для русского человека куда выше закона и власти.

Янин поогляделся, и от придиричвого взгляда темнота как бы разредилась, отступила. Сотни, а может, и тысячи людей перемогали ночь: кто затаился за выступами, в расщелинах и закутках баррикад, наивно полагая себя в безопасности, кто лежал на асфальте, подсунув под бок деревянный щит или полу одежонки, кто обряжался у костра, сочиняя нехитрую, простецкую ужну; кипели, хлопая крышками, полковые алюминиевые чайники, пускали белесые жгуты пара, степенно, не скрываясь, кружили у костров молодые женщины, разносили скудную еду, чтобы поднять у ополченцев силы, у девушек были невыспавшиеся, с окружающими усталости под глаза-

ми, замглившиеся от кострового дыма и сажи, припухшие лица санитарок и медсестёр военной поры, скоро опростившиеся, утратившие городской лоск и всяческую ухоженность; пальцы тёмные от обрядни, с обломанными ногтями, руки русских крестьянок, заветренных на сенокосном стане, по случаю угодивших с деревенской страды на столичную площадь, — словно бы все, скопившиеся под стенами соратники неизбежного боя, торопились не то чтобы вовсе одичать, но уравниаться даже внешне, обличем и одеждою, что обычно и случается с людьми, внезапно угодившими в невзгодь и юдоль.

Янин и не заметил, как его тоже приодели в походные армейские одежды, сунули на голову офицерскую фуражку с примятой тульей, накинули на плечи потасканную плащ-палатку, как бы определили его, заштатного гражданского, во взводные, только что недостало оружия, которое, наверное, предстояло взять в бою. Не глядя, как привел случай, он присел к костру, протянул ладони к огню — в самое пламя, чтобы оживить ломкие, сухие пальцы, просвечивающие насквозь.

«Господи, — подумал невольно, — худоба-то какая, ну просто пропадина».

Шершавая, в цыпках, прозрачная шкурка затрещала, запахло паленой кожей.

— Тихо ты, руки-то сваришь, — одёрнул грузный, с брюхом, мужик в клетчатой кепке-шотландке. Пламя на миг порскнуло с головешек на него, высветило губастое отечное лицо с тёмными мешками под глазами, и тут же отшатнулось назад в раскалённое чрево костра. Сиделец неуловимо, смуглостью одутловатого лица походил на ленинградского философа, некогда тюремного узника Льва Гумилёва. Янину приходилось встречаться с ним, когда он посещал Ленинградский университет и увлекался теорией пассионарности.

— А с руками некуда, — без нужды огрызнулся Янин; ему не хотелось вступать в разговор. Неузнанным, одиноким легче было коротать время: тупо погружаться внутрь, в собственное нутро, как в материную родильницу, свернуться клубочком — и мирно, сонно сопи себе в две норки. Если тебя уже нет в этом мире, так зачем возвращаться туда, где тебя не ждут.

— А оружие что... в зубах держать? — неожиданно повернул разговор старик с поясной седой бородою, в длинном, старинного покроя пальто.

«Такая одежонка хороша вместо одеяла. Но если английское сукно, траченное молью, пока хозяина волочили по лагерям, нечаянно промокнет, то скоро не просушить. Одна обуза, — подумал литератор Янин, лениво обернувшись к собеседнику, похожему на писателя Олега Васильевича Волкова, оттянувшего в советских тюрьмах и пересылках двадцать семь лет. — Боже мой, да тут одни бывшие узники

ГУЛАГа... Чего они тут оставили? С ума, что ли, походили, прибежали защищать Белый Дом? Попивали бы кофий вместе с либералами и радовались, что так ловко раздербанили Советы. Иль какую-то вину чувуют?»

— Не посмеют, — твердо сказал Янин и поправил мятую фуражку, по-казацки выпустив на лоб клок седеющих волос и процедив сквозь грязную щепоть поседевших усы. Николай не видел себя со стороны и невольно подражал чубатому казацкому сотнику, который красовался перед баррикадами, умело поигрывая над головою шашкой...

— Как это не посмеют? Как не посмеют? Вы жизни не знаете, молодой человек. Вы отдаёте отчёт в своих словах? Это вам не в игрушки играть. Гниды хуже вшей, — закипел старик, похожий на писателя Волкова. — Ещё как посмеют эти тыловые крысы и паркетные шаркуны-стервятники. Они крови сегодня у Останкино уже крепко хлебнули, а утром нальют на опохмелку. Кровожадные несыти... Разве зря сотню танков пригнали и сорок тысяч «омона»?

— Для устрашения, — подал кто-то голос с другой стороны костра. — Давят на нервы... А мы не поддадимся. Правда, братцы? Им нас не уломать, ибо за нами правда... Президент Руцкой не позволит... Это ж какую душу надо иметь, чтобы на безоружных танках.

— Они не люди. У них души нет. Они не Богу кланяются, а сатане. Вспомните, как сказал Христос? Отец ваш диавол.

Вдруг, подобно пламени костра, из крохотной искры взялся разговор, и каждому, коротая ночь, захотелось высказаться. Страшная мысль, которую гнали от себя, невольно настраивала на исповедь. Сегодня последняя ночь, а завтра, поди, и не живать.

— Чернобесов приказал: никого не щадить, всех в капусту.

— Так и сказал? Черномырдин, что ли?

— Ну да, он... Подручник сатаны и сам бес... Порчельник косноязычный, насадит на Русь икоту, слова сердечного не связать.

— Ничего, отмолим святую Мать-землю. Еще не вывелись святые старухи-навадницы, шептуньи и пророчицы, Матроны да Сергии, да честные воины и монахи-черноризцы. Никому нас не заломать...

— Хвали, хвали меня, мои губоньки... Не будешь хвалить — раздеру... Дай-то Бог... Дай-то Бог...

— Завтра пойдут по нашим костям, раскатают, измелют в муку... Всё это косточки русские. Сроют в общую могилу. Разбери потом... Иль в крематорий. А что? Практично и дёшево. Пепел на удобрения, — зловеще напирал какой-то мужик с багровым от пламени клювастым костлявым лицом, смахивающий на «партайгеноссе» Барабулькина, что у Ельцина на посылках, словно бы проверял крепость духа. Какая нелёгкая занесла его сюда, может, приплелся с пого-

ста старых большевиков? Знает, забавник, что в последние часы перед боем без политрука никуда: из могилы поднимет указующий перст, из Кремлевской стены выбьет башкою камень, несокрушимый сталинец, но итог подведёт, всех построит и призвёт. Но зачем он запел панихиду, часто скашливая в костёр тягучей слюною? Чтобы учинить разброд, иль сатанист Горбачёв подослал навадника? Вместе со слюною он разбрызгивал вирус психоза. — И никакой Христос не разберёт после, ни следователи, ни прокуроры, чья тут нога в яме, чья рука, и где там совесть, и на чьей стороне правда. И никого не колышет. Вместе с костями смешают черное с белым, грязное с чистым, стыд с наглостью и никакой после пересортицы. Разве прежде такое было, товарищи? Всяк сверчок знал свой шесток... Карабкайся вверх, но помни: падать будет больно... А как чешет новая волчья власть? Из перекупщиков, процентчиков и мелких шкурников — сразу на финансы в правительство, из торговца цветами — в министры. Это как понять? Главное — больше наглости, режь ягнят, дери загровки, снимай шкуры, вари бульонку из человеческих мясов... Слышал сам, уверяют хриstopродавцы, что место России в раю, а на земле нам, русским, жить заказано, отняли наше право, отдали шведским карлушам. Под Полтавой напугали, до сих пор вонь идёт, в бане отмываются. Ленина-то не слушали, бируши на ослиные уши, так вас перетак... А ведь кругом, куда ни ступи, братцы, всё засеяно косточками русскими.

Кошечев задохнулся, мучительно закашлялся, преврав «торжественную» речь за упокой Руси, наверное, совсем сникнул духом и сейчас заражал тоскою... Но, хоть и знает, что с утра припрут танками, польют свинцом, всё же не собирается, сердешный, покидать окоп и прятаться в кусты. Осталось только Межирова позвать из Америки на балкон, чтобы кричал в непроглядную октябрьскую ночь девяносто третьего, сверкая безумными, воспаленными от бессонницы глазами: «Коммунисты, вперёд!..»

— Не пугай, дядя-слон, пуганые... Где сами-то были в девяносто первом, торба с пеплом? Ау! Только и видали... В три дня слиняли, поменяли в Кремле место работы, меченого переиграли на беспалого, которого народ мечтает повесить на Красной площади. Нате вам, овцы безрогие, безумного цековского выкорымыша. Хлебайте кашу из общей миски... Сво-ло-чи! Скажи, Кошечев, верный ленинец, а куда ваш главный большевик Зюганов смылся? Кишка тонка? Командир полка не видал пинка... Что-то не видать, чтобы с гранатой под танк... То-то... Сидишь, квакаешь тут, холера тебя забодай. В порошок сотрут, — передразнил кто-то Кошечева из темноты, пряча лицо за дымом костра. — Сколько можно верить вам, бисовы дети, лживые обещалкины? — И вскричал вдруг: — Господи, как я вас ненавижу!

— Вот-вот, скоро достанете Брежнева из могилы и будете покойнику зад целовать... А я над вами посмеюся, заставлю «Капитал» штудировать.

Разговор был похож на вешний пал по лугам, когда огонь, сначала неохотно перекидываясь с травинки на соломинку, потом, по-змеиному посвистывая, ретиво поскачет по иссохшей за зиму траве, со зловещим гулом приметя выедать до пепельных черновин сельские пажити, потом скинется на лесную опушку и давай белкою поскакивать по вершинам, свиваясь в тугие свитки пламени, разбрызгивая ошметья оплавленных сучьев и бересты далеко по сторонам. Так пахарь раскидывает из лукошка яровые зёрна по нагретой вешней земле.

Вот где страх-то, братцы мои. Тут ноги в руки, да и беги, милый, спасай грешную свою душу...

— Смотрю, лечиться вам надо... Совсем больной. Жена-то хоть есть? — спросила Кошечева «полевая подруга» с санитарной сумкой на боку, подала болезному солдатскую кружку с крутым чаем. — «Запей-запей печаль свою и сердце вскинется любовью!» — вдруг запела фальцетом. Народ очнулся от дурных мыслей, засмеялся. — Какая-то фамилия у тебя, мужик, странная, из детских сказок.

Женщина присела напротив, с любопытством уставилась на иссохшее лицо старика, на его жилистые твердые ладони с пузырями желтых мозолей и скрюченными железными ногтями. Спросила жалостливо:

— Из чьих будете, товарищ, из каких краёв?

— Из мужиков... Из деревни Кошечеево Белгородской области.

Разговор на время оборвался.

...Внезапно всхлипнули, заворчали с надрывом танковые моторы, наверное, механики готовили «бронтозавров» к бою. На баррикадах народ мгновенно встрепенулся, в лучах прожектора, будто расцветший мак, вспыхнуло красное знамя, заструилось по ветру. Казачий сотник, размахивая имперским стягом, безрассудно полез по арматуре под небо, похваляясь отвагой, словно вступил на Божью лестницу, где на самом верху, в гудящей тьме, поджидал его в гости Христос. И у костров народ зашевелился, с тревогою приподнялся с насиженных мест, растерянно заоглядывался, ожидая команды со стороны. Холодок непонятного восторга и воодушевления объял Николая, но он не ворохнулся, а с каким-то чувством превосходства всматривался в противную сторону, где с устрашающим лязгом и хрустом металлических костей и суставов заерзали танки, приготавливаясь к бою. Лишь Николай был свободен от всех земных обязательств, и даже ямка на Востряковском кладбище уже была оплачена.

Но моторы тут же смолкли, и в наступившей тишине раздался крик, многократно усиленный мегафоном:

— Русские свиньи, сволочи, грязное быдло, сдавайтесь или копайте себе могилы... Ваше время пришло! Мы распнём вас, как в своё время распяли на кресте вашего самозванца, а на вашей крови испечём опресноки!

Это вопил бейтаровец, укрывшись за танковой броней. Голос его показался Янину знакомым.

— Мальчики, родные мои, опомнитесь!.. Что вы делаете?! — ворвался высокий женский голос. — Не берите на себя несносимый грех! Родителей-то хоть своих пожалейте... Как жить-то станете, миленькие?! И дети ваши, и ваши внуки проклянут вас во веки веков!

— Молчи, суч-ка, дешёвая подстилка, пасть повру!.. Заткните медведице глотку и вырвите клыки, чтобы не скалилась... Уро-ды-ы!

Как по приказу в чердачном окне мэрии вспыхнул зелёный кошачий зрачок и принялся деловито нашаривать на площади жертву. Наёмники Ельцина готовились к охоте, разжигали сердца, торопили рассвет. Янину показалось, что пульсирующая струна невидимого света от снайперской винтовки, опередив пулю, уткнулась ему в лоб и прожгла насквозь. Боль отозвалась в затылке.

«Вот и всё... Как всё просто».

Янин простонал, обреченно закрыл глаза. Раздался сухой щелчок, но не там, за окном небоскрёба, а совсем рядом, за неряшливой грудой арматуры. Женщина споткнулась и скользнула вниз.

— Боже мой... Убили. Маню Сергееву убили! — закричали от соседнего костра, бросились к несчастной, чтобы отнести в подъезд иль наложить на рану повязку, но вдруг женщина поднялась и, припадая на левую ногу, прискреблась к огню, опустила в подставленное автомобильное кресло и заплакала, собравшись в грудку, жалобно, по-детски всхлипывая.

— Господи, и сколько в этих недопёсах зла, — с недоумением прошептал сосед Янина, напоминающий благородным лицом и ухоженной бородою писателя Волкова. — Как они нас ненавидят, бурбульки черномордые. Это прямо какие-то фантомы зла. Их бы в исправдом... и на лесоповал. Хотя бы на годик...

— Месяца бы хватило...

— За месяц от черноты душу не выскрести.

— Молитовкой их надо, молитовкой и крест чтобы целовали.

Кто-то кочерёжкой шевельнул костёр, пламя плеснулось к небу, и Николай увидел огромные серые глаза старика, с особенной, проникновенной жалостью уставленные на него, словно бы считывающие судьбу.

— Потому что не знают любви, — сказал старик с голым бабьим подбородком и грустными алтайскими глазами.

Янин мысленно окрестил их: Гумилёв и Волков, страдальцы ГУЛАГа. Не хватало лишь рядом Солже-

ницына, спрятавшегося в забугорном Вермонте; вот сейчас бы и распечатали бутылочку «рокомора» на троих. Иль «лупиньяка». Солженицын так мечтал сбросить атомную бомбу на Кремль, на русское быдло, которое славит Сталина и поёт ему аллилуйю... «Самое бы время, да Кремль-то чем провинился?» — мстительно подумал Янин, поражаясь мгновенному безумию, которое невидимой бактерией вчинивалось в сознание и тех, кто сидел в танках, и тех, кто томился на площади и кто затаился в сумерках при стеариновых свечах на этажах Верховного Совета.

Какая тут любовь? Одна вековая ненависть, которую, казалось, ничем не пересилить.

Янин прислушался к старикам, обозначившим своё имя. Значит, того, кто «Гумилёв», зовут Николай Павлович, а второго — наоборот, Павел Николаевич. Что это: игра Бога или поворот судьбы? Иль знак близких перемен, когда перед исходом в мир иной надо предъявить себя, как на суде, даже совершенно чужим свидетелям: дескать, прощайте, родные, мы были с вами в едином порыве и едином духе, но в полном опрощении — ни званий, ни чинов, просто русские люди. Всё мирское сознательно запутывается, ибо не нужны ни «пачпорт», ни вид на жительство, ни ордена и звания, но лишь сама духовная суть человека, которая и взвешивается на весах Вышнего Суда. И остаётся на земле только правда о человеке, всё хорошее и плохое, записанное в гроссбух общей памяти, который после и перелистывает любопытный, нередко низменный человек.

Площадь походила на муравейник, а люди — на мурашей, которые сосредоточенно делали своё дело по внутреннему душевному велению, уже который день перемогали суровые обстоятельства, забыли дом и семью, куда-то стремились, исполняли чью-то команду, строились во взводы и роты, бряцали для острastки топорами и вилами, но сотни прерывистых тропинок со снующими озабоченными «мурашами» невольно замыкались на угрюмом, погруженном в полумрак здании, где блуждали привидения и в центре которого под покровом Богородицы, так казалось восставшим, билось одно на всех благородное сердце Руцкого. Часто отпахивались двери подъезда, и каждый раз люди вскидывались глазами в ту сторону и на миг замирали с верою, ожидая доброй вести, что непременно всё образуется как-то само собою, войдёт в мирную реку, и полубезумный Ельцин, очнувшись от запоя, заботится анафемы-маранафы и смиренно, со слезою, поклонится патриарху. Ведь не случайно же на Пасху мучается большевик с горящей свечою, и пальцы его, наверное, ещё не забыли расплавленный воск, капающий на запястье и в ладонь в утомительные часы службы. Неужели тут одно фарисейство и голая политика? Даже не хочется верить.

А Ельцин в это время тяжело спал и в пьяном бреду бесконечно кружил на «боинге» вокруг американ-

ской статуи Свободы, этой бетонной бездушной бабы, и выискивал место, куда бы приземлиться. На одном колене его мостился мальчик, похожий на целлулоидную куклу, и розовым пальчиком коварно подсказывал маршрут. На другом колене сидела девочка, похожая на лицедейку, и строила папе умильные глазки. И вдруг новый хозяин России очутился на шапке бетонной истуканши, как-то ловко скрутил «боинг» в комочек, положил самолёт в спичечный коробок и сунул в карман военного «сертука». Мальчик, сидя на плече у «папы», восторженно хлопал в ладошки, что-то закричал через океан в сторону Кремля и едва не свалился с державы...

«Хорошие вы у меня детки, но баловаться нельзя, ненароком сверзитесь в ад, а там холодно и страшно».

Тут пришел главный охранник Коржаков и, едва дотронувшись до плеча «диктатора», почтительно шепнул на ухо: «Вставайте, Борис Николаевич, начинаем, — и протянул стопку водки и котлетку от президентши, предварительно сняв пробу. — А что делать с теми, кто останется в живых?» — «В капусту всех, в капусту, к е...!» — неистово закричал президент, и пена пошла у него изо рта.

...И этот слух мгновенно достиг Белого Дома.

— Ельцин отдал команду: никого не щадить, всех в капусту, — сказал Кошечев, скорбно поджав губы, но в глазах его промелькнуло какое-то злорадство. Иль свет особенным образом упал от костра на костлявое лицо, иль пролетающая мимо пламенная искра, будто летучая мышь, оставила свою тень?

В очередной раз приотпахнулась тяжёлая дверь, из домово́й церкви, устроенной московской патриархией в Доме Советов, выпорхнул на площадь к умирающим кострам умильный, постоянной голос монашенки: «Христос воскрес, смертью смерть поправ... Господи помилуй, Господи помилуй нас».

Церковный обезоруживающий псалом легко пронёсся над усталыми головами, словно прохладное дыхание рассвета, уткнулся в танковую броню — и не умер, а свернулся клубочком на самом дне военной машины, чтобы умирить злодейство.

И Павел Николаевич, как бы провожая взглядом протяжные повторы, протянул с той же умиленной хрипотцой в голосе:

— «По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел...» Вот эту, наверное, и пел государь перед расстрелом в Ипатьевском подвале: «Христос воскрес, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». — Никто не оборвал старика, и он продолжил: — А я великого государя, незабвенного Николая Второго видел в Царском Селе... Да-да. Это было за год до войны. Мы с папой гуляли. Государь сам подошел, потрепал меня по щеке и сказал: «Какой прелестный отрок». Он был в солдатской шинели и в юфтевых ссохшихся сапожонках, так мне запомнилось. Совсем, совсем простой и ничего цар-

ского. Может, я что-то позабыл и не так вспомнил? — Павел Николаевич вдруг смерил Янина прицельным взглядом из-под мохнатых бровей, словно бы поставил его на место государя, расстрелянного хазарами в Ипатьевском доме. — Он был святой человек, помазанник Божий.

— А вот мне его не жалко! — резко выкрикнул Николай Павлович и пошел впоперечку. — Да-да, несколько не жаль, если хочешь знать! Девочек его жалко, и несчастного мальчика жаль, а его — ничуть. Я даже слышать о нём не могу! Он оказался жалкий трус и зловещее непреходящее несчастье для России. Да-да, жалкий трус и слюнтяй. Он развязал мешок зла. Как случилась страшная давящая коронация из-за каких-то несчастных кружек, так и пошло-поехало: Японская война, Девятьсот пятый год, Кровавое воскресенье, Первая мировая война, Февральская революция, большевистский переворот, Гражданская война, лениниана, сталиниана, Отечественная война. Пожалел тысячу негодяев и отправил на бойню десятки миллионов неповинных русачков, чтобы только ублажить дьявольскую душу Князя мира сего, паука-процентщика, сидящего на вершине золотой горы и по сей день пьющего нашу кровь. И те содомиты, кто схватил нынче власть, — это правнуки тех, кого однажды пожалел гражданин Романов, покорно склонил перед ними голову и спроводил Русь на убой, потому что ничего в нём не было от Гермогена, которому кричали шелудивые полячишки: отрекись от веры православной и будешь ходить в шелках-бархатах... Царь сбросил корону под ноги паркетным генералам, площадным шутам и думским балагурам, он наплевал прямо в душу России, в её прошлое, на предания и заповеди. Хотел мирно отсидеться в тюрьме, думал, наверное, всё обойдётся, сойдёт с рук, английский братец спасёт его. И можно будет снова молиться за сына и стрелять в парке ворон. А коварный братец уже давно подписал с масонами приговор русскому правителю, чтобы легче было рубить государство на полти и делить меж своими...

— Николай Павлович, опомнитесь, милейший. Вы, верно, сошли с ума. Двадцать лет сталинской каторги ополовинили твоё сердце, иссушили и превратили в желчный пузырь. Милейший, ты стал очень злым и сердиться напрасно, отбросив прочь всякое добросердие и разумение. Разве можно подобное говорить о помазаннике-святомученике. Ну, как только язык поворачивается на такое. Царь боялся напрасно пролить кровь ни в чём не повинных людей.

— И пролил моря...

— Он плакал, пророчески глядя в будущее, и хотел умягчить сердца людей, отрекаясь...

— И уступил место палачам с наточенными секирами... Отрекся от святого милостивца великого государя Ивана Васильевича, чтобы стоптать под

ноги весь род Рюриковичей. Знаешь, от Грозного, истинного богомольника, было что взять в науку... Это масоны завалили Великого князя мусором и уселись сверху, как гнет, чтобы все забыли истинный облик православного строителя государства.

— Николай Второй не мог поступить иначе, как верный сын Христа. Вы же всё знаете, у вас информация из первых уст, вам донесли её с небес рахманы и брахманы, звездобайцы и чернокнижники перевели и прочитали из тибетских свитков... Люди, не слушайте старого ворчуна, несчастный «тунгус» бредит. У него белая горячка, ему ударило в голову, надо скинуть ему кровь.

Граф запнулся и всхлипнул; мокрыми от слёз глазами девяностолетний старец снова уставился на Янина, словно постигал тайный смысл его присутствия: как этот человек, похожий на расстрелянного императора, оказался возле, не сон ли это? Иль явился странный посланец из прошлого, которого надо принять и приветить.

— Мели Емеля, твоя неделя... Может, и было раньше что доброе, так всё повысыпалось из дырявого мешка... И никакой я не тунгус, а хохол. Русский хохол, — пробормотал Николай Павлович, уставший сражаться со своим другом. — И много древнее, знатнее тебя, иду от Рюриковичей, а ты самозванец, внук винного откупщика, и дед твой графство купил. Я племянник Василия Родзянки, спустившийся с Гималаев, я потомок голубоглазого русоволосого великого воина скифа-ария Чингисхана и прямая ветвь от рыцаря Челубея, что сошелся в копья с чернецом Пересветом, и никоторый тогда не одолел. На Куликовском поле арий-скиф схватился с русом-арием, брат кинулся на брата, забывши древнее предание о родстве, чтобы обрадовать каяфов и бесерменов, пополнить золотом кошель генуэзского работоторговца.

— Ты сошел с ума?... Боже мой, Николай Павлович, милый, ты рехнулся? Может, уже сегодня нас не станет, а мы в таком немиррии разойдемся навеки... Ты меня крепко обидел, но я тебе всё прощаю, и ты меня прости.

— Ну уж нет, ну уж нет! — задиристо воскликнул «тунгус». — И я, Паша, от тебя не отстану... И на том свете буду гнаться за тобой, срезать пуговицы на твоих штанах, чтобы ты глупо не размахивал руками, а держался за помочи и не грозил мне Страшным судом.

— Не посмеют... Рука не поднимется... — влез кто-то в невнятный для многих спор. Толкли воду в ступе два старикана-«моховика», не разумея проку, а просто по привычке, чтобы не оказаться вдруг в пугающей тишине.

— Черномырдин сказал: никаких переговоров. Надо перебить эту банду!.. Это нас, значит, перебить? Это я банда?

Кошечев протянул ладони к угасающему костру, вгляделся в темные, посеконовенные морщинами ла-

дони, с вьезшейся русской землей, в желвах и мозолях, с кривыми узловатыми пальцами и толстыми загнутыми ногтями, похожими на орлиные когти. — И меня, Кошечу, убить? Ему нужны земли свободные, без крестьян, но с батраками... Много белгородского чернозёма... Подавится, урод. Черномырдин вышел из печенегов, иль половцев, иль из горских татов, судя по фамилии, из орды степняков, живших набегам, которые люто ненавидели пашенного мужика, занявшего их кочевья. А может, из хазар, мечтающих о своём царстве от Черного моря до Москвы. А что? Тут главное захотеть, напрячься нутром и родить, — вяло, шамкая опухшими губами, рассуждал Николай Павлович, напоминающий обликом Льва Гумилёва, страстного историка-русачка. — Братцы мои, никто не знает русской души, мы сами, русские, не знаем, тем более какие-то кипчаки, вроде хана Черномырдина... А я знаю, но не скажу, чтобы нас не истребили... Если русский народ ведёт себя спокойно, то про него бесермены, эти вонючие скунсы, окопавшиеся в Кремле, ехидно улыбаются: рабская сущность. Это о русском-то народе! Но только стоит ему шумно вздохнуть, повести вокруг недоуменными очами и воскликнуть: братцы, как скверно мы живём, так жить больше нельзя! — как тут же либералы, эти наймиты Запада и чужебесы, в ужасе завопят: упаси Господи видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Ха-ха-ха! Но именно русский бунт под знаменем Христа благословляет Господь... Разве вы не видите Его, как Он обходит костры, протягивает руку каждому, но не как прошак-милостынщик, а как держава, в помощь нашей духовной немощи. Мужайтесь, шепчет, мужайтесь, мужики. Я с вами!

Что-то ещё, играя голосом, внушал Николай Павлович, но слова его, теряя силу, шелестя на ветру, уплывали куда-то за Москву-реку, тускнели, терялись во дворах и заулках, припадали, как последняя осенняя листва, к заиндевелой ночной траве и засыпали. Сознание у Янина помутилось от бессонных ночей, он забылся в какой-то миг, даже не зная о том, и голова его, как подрубленный капустный кочан, склонилась к шелковистой невесомой бороде графа, закуталась в седую куделю, словно в материно сголовье.

Ему привиделась мать, ещё девочка, щекастая, круглолицая, лупоглазенькая, сидит на травяном пригорке и ждёт деревенское стадо; уже ночь наплывает из мокрой калтусины, из почерневших ивняков, из лопушатника и дурман-травы. Коля потянул девочку за рукав грубой шерстяной кофты, косо обвисшей на плечах. «Мама, ты чего тут делаешь? — спросил, теряясь. — Уже вроде ночь, ты не заблудилась ли случайно? Тебя дома, поди, потеряли». Коля оглянулся, сзади по угору, западая в берёзовые куши, далеко разбежались избы, похожие на стога, в окнах

зазывно, как-то уютно и надежно, светили огоньки керосинок, пахло печным дымом и стряпнею. Тут в водянине, среди сырого узловатого ольховника зашевелилось, захлюпало что-то живое, громоздкое, загремели, заговорили коровьи боталы, лениво переступая, гуськом потянулось к дому деревенское стадо. «Пеструнюшка, поди сюда, милая манюшка», — ласково позвала девочка корову, протянула кусок круто присоленного житника; посунулась из ивняка пестрая комолая морда с белой звездой на лбу, тянется к хлебине громадным розовым языком, смахивает горбушку, а вместе с нею и простоволосую девочку, и мать её Марию, ждущую на косике, и деревню с мерцающими тусклыми огоньками, и белесые завитки дыма, и звезды — всё, что было живого вокруг. Янин едва успел отпрянуть, отпустить рукав вязанки из толстого сурового прядена, чтобы и его, уже стареющего мужика, не слизнула с земли крылатая корова со звездой на лбу и не унесла в небесный хлев.

«Кто ты?» — устранившись, вскричал Янин.

«Я великая крестьянская небесная Богиня! — прокатился раскатами грома от края и до края неласковый мык. — А Христос — мой сын!»

Всё смешалось в видении: и мать, почему-то ещё девочка, и бабушкина корова Манька, слизнувшая языком привычный домашний мир детства, и Христос-галлилеянин, голубоглазый скиф, сын крестьянской русской Богородицы, который, не уставая, уже две тысячи лет ходит по русской земле с ключкой подпиральной. Не сон, а наваждение, но и притча, но и подсказка, которую надо успеть разгадать перед скорым путешествием к небесным вратам. Как жаль, что тогда, в Ижме, не дождался Господа (всему виною проклятая водка), когда Он направлялся вокруг озера к избенке Янина не за сухариком, не за ночлегом, но с сокровенным словом. Что-то, наверное, должен был сказать такое необыкновенное, отчего бы жизнь обновилась и наполнилась смыслом, и кончилось бы внутреннее скольжение в пропасть, и умиралась бы смятенная душа.

«Мама, как ты жила?» — крикнул Янин вдогон матери, чтобы остановить ее хоть бы на одно мгновение.

«Прожила честно и праведно, сынок, тебя растила, не пила, не гуляла», — эхом донеслись из студенного мрака последние, такие простые, обыденные слова, уже ставшие преданием.

Всё внутри дрожало от возбуждения, Янин нетерпеливо дергал за рукав своего соседа, принимая его в забытии за родную мамушку. Да и старик никак не мог взять в толк, что случилось с мужиком, похожим на Государя, когда-то потрепавшего за щеку юного Волкова со словами: «Какой прекрасный отрок».

Всё было так въяве, что из зазеркалья, куда увлекло Янина, трудно было пробиться обратно, в тревожный мир, полный беды и ненависти.

— Николай Александрович, проснитесь! Пора! Антихрист на пороге! — прокричали Янину в ухо. Он с трудом разлепил глаза. Над ним склонился послушник в черной еломке и подряснике, совсем юный, с мелкой осыпью смолистой бороды под губою. Глаза разбежистые, большие, с испытующим чистым взглядом.

— Алёша... Алмазов? Ты-то как здесь? — прошептал потрясенный Янин. Братцы, ну как тут не изумиться, если прибыл в столицу с конца света и в престольной, в этом вавилоне, в самом гиблом месте Москвы, где совесть столкнулась с бесчестьем, вдруг встретил юнца, которого знал ещё с зыбки, пахнувшего материнским молоком, прижимал к груди и тетешкал, навешая его отца в мастерской. И вот сбежались, чтобы в конце пути, на росстани не остаться Янину покинутому и забытому в одиночестве; это же какое счастье, когда такой родной человек отпоёт, проводит и уложит под крест. Николай просунул руку к груди, чтобы достать паспорт, показать Алёше квитанцию с оплатою похорон и попросить о последней заботе. Но закорелые, словно деревянные, с отросшими ногтями настуженные пальцы больно ткнулись во что-то твёрдое, словно под плащ была пододеята кованая кольчужка; Янин скривился от боли и тут же запомнил о своём намерении. Ещё мать никак не выходила из головы, истаявала во мраке, оставляя серебристое мерцание, и вдруг вместо неё, уплывшей навсегда, как наваждение, появился Алёша. Жизнь продолжалась случайными вспылками, всплесками, видениями, загадками, по чужому неясному замыслу, отобравшему у Янина последние крупички воли. Монашек опустил на корточки, заботливо поправил на голове Янина сбившуюся фуражку, запахнул офицерскую накидку.

— Царь, пора... Антихрист на пороге. Николай Александрович, вам плохо? Крепитесь. Настало время торжества русского духа. Спаситель нынче свяжет нас в нерасторжимые юзы, чтобы не разминулись мы, не потерялись в грядущей бесконечной дороге, — говорил юноша высокопарно, уставя внимательный взгляд на восток, откуда ожидалось солнце.

— Вы Царь? Николай Александрович? Всё думал, откуда я вас знаю?.. А я вас действительно знаю, с одна тысяча девятьсот тринадцатого года. — Старик с трудом поднялся, высокий как каланча, в длинном черном пальто, навис над Яниным, покачиваясь на затекших ватных «ходулях», словно собирался отдать честь или отбить поклон прибывшему из долгих скитаний государю; костлявая ладонь, мямлящая кепи, беспомощно тряслась. Граф подбирал особенные слова, чтобы выразить своё изумление, а они, признательные и горячие, полные восторга, искренние, вдруг куда-то делись. Его приятель «тунгус», закутавшись в плед, ехидно улыбался, но мол-

чал, выглядывал на графа из шерстяной окутки, будто птенец из гнезда. — Так вы действительно царь?

— А что, не похож? Ну Царь я... Царь, — смутился Янин. — И что такого? Друзья так прозвали. Дуракам закон не писан. Втемяшилось. Вот и ношу теперь его образ, как писаную торбу. И таскать тяжело, и сбросить нельзя.

Костер пышкнул прощальным пламенем и умер, лишь сквозь мохнатый пепел, как россыпь осенней клюквы, проглядывали рубиновые угли да пробегали по коченеющим останкам, как предсмертные судороги, голубые сполохи угара. Наступил рассвет, холодный, безрадостный, густо облитый крупной росой. Отсыревший, заоченелый за ночь народ зашевелился, угрюмый, уставший от долгих бдений, раздраженный бесконечным ожиданием доброй вести, а её ниоткуда не поступало, придавленный мыслями о семье и детях, которые дома одни, дожидаются родителей, уткнувшись в окна, иль с большою бабкой, и если что вдруг случится, то останутся они сиротами на всём белом свете, и кто тогда «их оденет-обует, и кто их теплом обогреет». Защитники русского мира, увы, не знали твёрдо, что приговор им подписан, они отданы на закление, уже возложены на жертвенник золотой «куклы». Осталось подкинуть огоньку.

Тут с подвизгом и скрежетом, с кабаньим хрюканьем злобно зарычали танки, залязгало, оживая, железо; забегали изрядно захмеленные генералы, жаждущие чинов и денег; свежие роты, приняв наркомовские «двести грамм», прямо с марша воинственно вошли на площадь, заменяя окоченелых солдат; десантники из спецкоманд полезли в подвалы и тайные переходы под Белым Домом, выставили «прослушки»; «скорые помощи» выстроились во дворе больницы Склифосовского; в Колонном зале репетировали победные речёвки и проверяли ресторанное меню; иностранные гости примеривали парадные сюртуки и особые галстуки, надеваемые по редкому случаю; в Центральном банке клерки-«мафинозисты» наполняли фамильные конверты «американской зеленью»; все президенты мира и вся журналистская продажная сволочь повисли на телефонах, отрабатывая жирный куш; Сванидзе с Попцовым и Сорокиной, сообразив на троих, прочищали горло, закусывали сырыми яйцами, репетируя перед зеркалом клятву верности великому вождю, срочно скребли «на коленке» словесную шелуху про безнравственных мятежников и убийц, засевших в Белом Доме, исполненных сатанинских пороков. Откуда-то с небес вдруг вынырнул таинственный вертолёт, обогнул Верховный Совет, заронив напрасные надежды в защитников, — и скрылся. Вице-президент Руцкой бросился к телефону, чтобы позвонить на Золотую Гору Господину всего Мира, но телефон не отвечал: это «яблочник» Митрохин, либеральный партизан, проникнув под здание,

перекусил жилу железными зубами. Мировой «интернационал» принял к окулярам снайперских винтовок. Спецслужбы американского посольства приотворили задние ворота, чтобы в случае худых вестей с московских улиц, немедленно принять под свою руку пьяного Ельцина. Всем нашлось срочное дело, и лишь несчастный патриарх Алексей Второй горестно молился в уединении, стоя на коленях в домовой церкви, и просил Христа умирить заблудших и вернуть их души к милости и состраданию. Говорят, у Богородицы в келии патриарха в это время замироточили слёзы.

На часах сыграло шесть.

— Пусть земля нам будет пухом, братцы мои... Не скажу прощай, но скажу до свиданья. — На свету Кошеев оказался вполне нормальным русским мужиком с помятым, в глубоких морщинах лицом и карими запавшими глазами. — Чего загрустили?... Всё лабуда, всё хорошо, милые мои...

Растянул до рассох рыбацкие резиновые бродни, словно бы собрался переходить вброд реку Лету, не дождавшись перевозчика, добыл из брезентового пастушьего плаща спрятанный обрез двустволки и отправился к баррикаде.

Его обогнал коренастый батюшка из Сергиева Посада. Он только что обошел крестным ходом Верховный Совет и, потрясая хоругвью, заторопился к бронемашинам. Закричал ещё издали, примечая, как готовно нацелилась на него собачья свора:

— Чи людины вы, чи нет? Опомнитесь, не берите греха на душу... Кто поднимет руку на безотцовного и прольёт кровь, да будет проклят. — Отец Виктор уперся ладонями в урчащее животное, словно бы собрался его отпихнуть с дороги. — Невинная кровь останется каиновой печатью на вас и ваших детках во веки веков. Все будут тыкать в вас пальцем и говорить: это дети Каина.

Танк вздрогнул, но не попятился, а вдруг накатил на священника. Тот какое-то время ещё упирался, ноги его окатились, подломились в коленях, и священник упал ниц. Гусеницы проехали по отцу Виктору, раскатав его в половик.

— Люди, куда вы смотрите?... Это шакалы, звери, пожратые дьяволом. Святого русского человека убили.

Алёша Алмазов вскочил, взмахнул руками, будто крыльями, — так журавль вскидывается над землею, силясь взлететь; скуфейка свалилась с головы послушника, волосы разметались по плечам. Но семинарист не сделал и двух шагов, как Янин напрыгнул на него со спины, подмял под себя тонкое, ещё не заматерелое, неистово бьющееся под грудью тело, пока оно не успокоилось, не затихло.

«Не надо, Алёша, зачем ты так, не надо, родной мой», — шептал Янин, умиряя сердце, с болью убегающее из груди. Лишь на миг он приподнял взгляд, чтобы пообсмотреться, и тут словно бы кирпичом со всей дьявольской отмашкой ударили его по голове.

Снайперская пуля вошла в левый глаз. Страшная боль разъяла череп насквозь, но как-то скоро попри- тухла. Янин знал, что умирает, но не было в груди ни тоски, ни боли, ни грусти, ни того странного в своей необычности торжества, которое навещает порою измученного человека в последние минуты, как на- града Господа, и ничего не вспомнилось, не пришло на ум из прежней жизни, будто и не было её, словно и не приступал ещё жить, а был в самом безгрехов- ном зачине. Он ушел — и всё, просто его не стало. Пустота объяла Николая со всех сторон, и только ре- зал глаза слепящий луч света, похожий на лезвие скальпеля, сдирающий с души земной прах. Янин увидел далеко внизу распростертого на асфальте Алёшу Алмазова, уливающегося слезами, столпив- шихся возле ратников, казачьего сотника Морозова с имперским стягом, сиреневую пелену от чадающих костров, усердно молящегося графа.

— Дядя Коля, не уходи! Николай Александро- вич, не уходи! — кричал вослед улетающему Янину семинарист из Сергиева Посада. — Царь, не уми- рай! — настойчиво уговаривал послушник и этим воплем, словно стальной пружиной, приторочивал родного человека к земле, отбирал волю.

Туда-сюда, — унывно скрипела пружина, раска- чивая Царя на детской забавной качели, то на миг вознося счастливец за облака, то возвращая к земле.

И вдруг Янин ударился затылком обо что-то твер- дое, пружина лопнула, и он камнем полетел вниз, откуда доносился требовательный вопль: «Ца-арь, не умирай! Ты меня слышишь?..»

Николая оттащили в двадцатый подъезд, уложи- ли на пол при входе. Алёша словно потерялся умом, опустился на колени и лишь безотчетно причиты- вал, прибирая седую неряшливую кудрю и изредив- шийся вехотёк бороды покойного, стараясь не смо- треть в глаза Царя, не в силах поверить, что Янин на- всегда отправился к морене-марухе в небесный оке- ан, к неизвестному вечному прибежищу «до вос- станного» дня:

— Дядя Коля, не уходи... Ради Бога, Царь, не умирай! — рыдал Алёша Алмазов.

Вдоль стен лежали убитые, складывали мертвых штабелями и в туалете первого этажа, кровь натекла по щиколотку, уже выплескивалась за порожек ве- стибюля, ручьём струилась на площадь, подтаплива- ла танки, кантемировцы бродили по алым лужам, хлюпая десантными башмаками.

Женщины замывали полы, перевязывали ране- ных, невольно привыкая к страданиям и ужасу бой- ни. И никого не взволновало, что убили какого-то Царя, прибредшего в столицу из глубины России.

Господи, да мало ли на белом свете чудиков!

Спустился с шестого этажа врач, осмотрел бом- жеватого мужичка с пробитой головою, сделал зачем-то укол от столбняка, достал из нагрудного

кармана документы, не глядя в паспорт пихнул в за- мызганный кровью халат.

— Будет тебе ныть-то, — оборвал врач сурово, в приказном тоне, но Алёша едва ли услышал его, он ещё пуще распалился, переходя с плача на истош- ный вопль — так причитывают в деревне по усопше- му, провожая на погост:

— Царь, не уходи! Царь, возвращайся!

Люди мельтешили вокруг убитого в каком-то ри- туальном танце, словно призраки, то вспыхивали в глазах Алексея, то пропадали в распах длинного ко- ридора, где кучился народ, ожидающий штурма; угарный запах смерти и спекшейся крови мутил го- ловы и усыплял, валил с ног. Ужас от витающей над головами гибели притупился, и гнетущий страх, от- нимающий волю к сопротивлению, куда-то пропал, ибо сон для уставшего голодного человека слаже любви. Возле остановился «нового русского вида» господин в длинном кожаном пальто и ослепительно- белой рубашке со стоячим воротничком, подпираю- щим высокую сухую шею. Снял шляпу, перекрестил «упокойника» и позвал:

— Царь, это ты?.. Ну здравствуй, Николай Алек- сандрович... Не ожидал вас тут снова увидеть.

Тихие отчётливые слова перекрыли по-детски исто- шный плач Алёши; он споткнулся и замолчал, подняв удивленный взгляд.

Янин с хрустом потянулся худеньким тельцем, слегка запрокинув голову, приоткрыл правый глаз и совершенно здраво, прикусывая каждое слово, произнёс глухим голосом чревоушателя; казалось, хриплые звуки доносились из самого нутра:

— Я, как всегда, неповторим... А ты кто? — спро- сил усопший и захлопнул веко. Из левого пробитого глаза истекала по щеке сукровица и засыхала, чер- нея, в бороде.

— Евсеев Борис Иванович...

И все, кто стояли возле, сначала потрясенно вздрогнули и тут же невольно заулыбались.

— Он ведь жив... Царь-то жив.

— Быстро в мою машину! — приказал Евсеев откуда-то взявшимся порученцам с военной вы- правкой. Служивые закатали Янина на плащ- палатку и бегом через потайной ход потащили к ар- мейскому бронированному вездеходу.

Алёша едва успел вскочить. Машина рванулась из-за поворота неожиданно для оцепления, выбила рылом переграду и вынеслась на Краснопреснен- скую набережную.

...А через десять минут, в семь пятнадцать утра, шквал огня из сотен автоматов и пулемётов накрыл площадь, и все, кто не скрылся в Белом Доме, погиб- ли. Оставшиеся в живых вспоминали: «Расстрел шел от стадиона «Красная Пресня». Было убито несколь- ко сот человек. Вся площадь перед Домом Советов была усеяна убитыми и ранеными, которых не дава-

ли вынести под шквальным огнём. Какая-то американская журналистка вопила в экран телевизора: «Боже мой, какой ужас! Больше тысячи убитых!..»

А потом стали лупить из танков...

Глава четвертая

Вода по капле камень точит. Так и время заносит сознание илом, а душу затягивает тиной, чтобы человек от переживаний не сошел с катушек, а притупился натурой, обузился в желаниях, чтобы напрасно не терзать сердце и не рвать тельняшку на груди, вызывая в себе разрушительный гнев, не творящий деятельной силы, но исподволь, неслышно окончательно выпивающий её; в общем, погрузился народ в спасительный сон, но чутко чая грядущего спасения. И Церковь, расслышав духовные муки своих чад, готовно приотпахнула врата для растерянной и смутившейся в несчастьи России. Пришла в Кремль раскрашенная под русского богатыря кукла, и надо было так приноровиться к ней, далеко не отодвигаясь, чтобы властитель Ельцин в самодурстве своём не возненавидел Церковь, не растоптал её, но и близко не принося, чтобы не разливали Православие, не превратили в дворового шута и балаганного клоуна, в некое придворное присутствие для службы на посылках...

...Свет в деревне неожиданно отрезали после шквалистого ветра, и Рахманин читал Иоанна Златоустого, почасту отвлекаясь, чтобы дать свежести глазам, плотно прильнув к закуржавленному стеклу, покрытому алыми, голубыми и песочного цвета розанами, смело расписанными тонкой Божьей кистью, — ибо только Творец может, не лукавствуя, без красок, резцов и художных ухищрений, так вдохновенно, безо всяких усилий запечатлеть дыхание матери-земли. Сколько радости невольно вспыхивает каждый раз, простого младенческого восхищения, даже у стареющего художника, разглядывающего творческое сочинение Бога. Только великий живописец мог создать чеканный узор — чернь на серебре, на растекшейся крохотной капле влаги, — которому многие тысячи лет. Печь натоплена, в избе жарко, постыной запах от наваренной ушицы из сушняка струит из шолнуши — бабьего угла. Добрый келейный дух. Ничем посторонним, дразнящим естество, не натягивает из шкафов и с шестка, дверь в горенку захлопнута напрочь, обложена одеялами и шерстяными окутками, чтобы не сквозило, не выносило тепло, — что делать, приходится ужиматься в скудости, дровец прижимать, зима — старуха долгая, обжорная, такая несыть, и кухня для бобыля — самая верная пристань спасения.

Рахманин приосмотрелся, узнавая знакомое и родное, протяжливо вздохнул и снова усердно прильнул к святоотеческой книге: «Итак, обратимся

от пути, по которому блуждали мы, ибо придет час, когда кончится позорище света сего и не будет уже времени для подвигов... Настоящее время есть время покаяния, будущее — время суда... Встаньте, умоляю вас, встаньте... Жили мы по плоти, станем же наконец жить и по духу; жили в удовольствиях, решимся жить и в добродетелях; жили в нерадении, поживём теперь и в покаянии. И Бог, видя наше усердие, отпустит нам согрешения наши».

Рахманин снова отвлекся, показалось, что сгреломело снаружи кованым кольцом; кто-то просился в дверь. Прислушался: нет, показалось. Это ветершалоник принёс перемену погоде, уперся бодливым рогом в бревенчатую стену, шатнул избу; и снова сгреломело уже на подволоке, словно кто-то чужой проник через поветные ворота и теперь хозяйничает в доме. В мире оттепело, позвало к снегу. В избе разом смерклось, все Божьи росписи на стеклах спрятались за белыми лепёхами; экие олады налепило на окнах, свету белого не видать. И образ Христа в углу попритух, впечатался в старые брёвна, и только очи от зыбкого пламени лампадки налились грозным огнём.

Ну ладно, Христос, он «ходяе» меж изобок по немеряным сиротским палестинам Руси, — подумал Рахманин, сощипнул нагар с коптящей лампадки; огонёк не ужалил пальцы, но показался щекотным и нежным. Хорошего масла нет, вон как накоптело на потолок. — Но как с Творцом быть? как принять его в разум, если Он — точка? и где та точка на земле иль в небесном аере, коя и есть сам Создатель всего сущего, как Его отыскать и как на Него опереться, если невозможно понять, отскакивает сознание, как горох от стенки? С ума же можно свихнуться, хотя я вроде бы неглупый человек. Не палата ума, нет конечно, но кое-чего можно наскрести по закрайкам... А каково простому мужичку, поклоненному очами к земле, которую Творец создал в один день без предварительного наброска? Наверное, потому и церковь моя пала ниц, не выросла под крест, потому что Точка никак не влезает в срубец, эту смирительную рубашку, сшитую слабосильными человеческими руками. Эту Точку православный храм никак не впускает, даёт Ему место лишь на церковном небе, и русский богомольник невольно рыскает умом от Саваофа к сыну Христу, не разумея понять Отца и уместить в душе хотя бы крохотную частицу Его.

...Зачем старинную церковь я раскатал по дурости, не видя предстоящих трудов? И как сложно поставить новую храмину, если хаос царюет в груди и хладные ветры задувают, сияясь потушить крохотный, слабый огонёк пробудившейся веры. Какое лучезарное, благодатное маслице надо залить, чтобы не меркла, ровно горела лампадка, не зачерняя копотью душу...

...И деньгам нынче сплошной перевод, разом обвалились в цене, превратились в ветхую бумагу для самокруток и растопки печи, и неоткуда теперь ждать свежего притоку в горсть провинциального прошака. Обменяли советские рубли на жвачку и сникерсы. Так скоро все обнищали в деревнях и пригородках и пошли за милостынькой. На что прикажете строить храм, на какие шиши? — мысленно обратился Рахманин к невидимому осудителю. — И неуж добровольное иго, на которое однажды подвигнулся, источится в прах, не даст зримого результата, и тогда вся протекшая жизнь окончательно пойдёт насмарку; в какой угол ни загляни, везде глухая, сумеречная пустота, пыль и плесень. Как тут не ужаснуться и не всплеснуть руками, глядя на канитель утекающих в бездну дней! И невольно восплачешь Господу с мольбою:

«Сторож! Сколько ночи? Сторож! Сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но ещё ночь».

Но коли назвался груздем — полезай в кузовок; дружно не грузно, а врозь хоть брось.

...Увы, многим уже не дожидаться утра. Вот и Коля Янин страшно погиб, дьявол выбил ему глаз и отнял Свет. Сколько раз я ему внушал: Коля, не облакайся в чужие одежды, они хранилище бед и болезней; присвоенное чужое имя, как и поношенный, неизвестно чей костюм, сулят для нового владельца тяжкое бремя, напоминающее о пережитом, и не столько спасают от напастей, сколько чужие несчастья невидимо переносят на твою судьбу. А ему нравилось... Кто-то скажет: мол, всё это мистика, плод досузого ума. Дескать, от безделицы какая только дрянь не полезет в голову... Но каждому по его вере... Судьба не ходит набитыми тропами, а выбирает тайные, неисповедимые пути.

Во всём Горыня виноват, это он сгубил Николая; чистосердечный был парень, литератор от Бога, но навалил на горбину торбу с царским лихом, будто мало своего, и, переживая его, надсадился сам.

Как-то мельком вдруг проскользнула на экране картинка под ехидный скрипучий голос Сванидзе, похожего на старую обветшалую моль, соскользнувшую с иглы. Лежит Коля Янин на полу с запрокинутой головой: напряженная морщиноватая шея, войлок свалывшихся грязных волос, струйка подсыхающей сукровицы сочится из пробитого глаза, словно бы иссякающий родничок из спекшейся пробоины; плотно сжатые синие губы твёрдо торчат из лохмы бороды. Телекамера хищно наезжает на жертву вплотную, чтобы убить Царя снова, и снова сладострастным механическим взглядом выхватывает в подробностях лицо поверженного «врага-черносотенца», свершившееся неизбежное наказание, как урок живым, ещё сомневающимся в торжестве окончательно победившего либерализма; и юноша в скуфейке, почти мальчик, смутно напоми-

нающий Алёшу Алмазова, рыдает над телом, истошно вопит на весь Белый Дом: «Царь, не умирай!» Какая-то мистика, право, наваждение, сюжет трагической картины, ловко скопированный постановщиком с картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Не хочется верить... А говорят, нет мистики, одна «натурель». Вот он постмодерн, исполненный на заказ рукою нынешнего палача, когда не толпа зевак смотрит на казнь, а сразу миллионы людей в самых дальних уголках Русской земли.

...Боже мой, несчастная Даша, как ей сейчас тяжело. Вдруг выпало мгновение семейного счастья, чтобы так скоро стореть ему в столичной смуте. Господь помирволил и тут же отнял подарок. Буквально по Святому Писанию: кого Господь любит, того и наказует. Любовь — насмешка, любовь — издевательство, любовь — коварная игра, и не кроется ли здесь чего от лукавого; затаился за спиною Спасителя, и когда Он творит благие деяния, то лукавый тайно зачеркивает их, ставит свои тёмные печати... Какой леший затащил Янина в Москву? Теперь никто не объяснит. А нанимался в помощь мне за одни хлеба, с желанием по благодати Христовой стать новым человеком. И стал ведь; с каким пристрастием ни суди Царя, а ведь исполнил урок, истинно покаялся за свою ветреную жизнь, отдал её «за други своя». И славы отхватил, на всю страну засветился, незабытно прильнул к истории России, к её героической стороне... А я, поклонник постмодерна, скальпелем разъял искусство, как скотскую тушу, и ничего неожиданного не нашёл; разобрал по сортам, разложил на торговом прилавке — и предстали глазу хрящи, кости, рёбра, пашина, грудина, брюшина, задок, черёва, оковалки сала, но куда-то вдруг невозвратно исчез образ кормилицы-коровы, небесной богини, покровительницы русского народа, сонной, благодушной, слезливой, покорной, молочной, всю себя сознательно отдающей человеку для продления рода, не знающей ни гнева, ни зависти, ни печали, — доброй бессловесной домашней скотинки, всклень напитанной сытными соками жизни, степенно ступающей утрами по росному лугу на дымящийся восход солнца... Живой «хлеб наш насущный», «волчья сыть, травяной мешок», посланный Господом человеку в жертву. Корова даёт хорошее молоко до десяти телёночков, а после удой идёт на убыль, значит, пора на убой. Не так ли и с человечеством, что потерялось меж добром и злом, позабыло стыд и совесть, не зная, в какую сторону двинуть, за Богом или сатаною, пошло душою на убыль — вот и потянется вскоре вослед за коровою, как жертва, на алтарь грядущего нового народа... А может, никто из деревенских и не видал той жуткой картинке, где Царь сочетается браком с небом? Даша живёт у отца, а старик Пиросмани — староверец, у него веком не было в избе телевизора, этой «дырки в ад». Конечно, когда-то

придёт известие и в их дом, не минует, но это будет время уже иных, попритухших чувств.

С гнетущим чувством вины Рахманин вышел на крыльцо. Метель ослепила и заставила попятиться в сени, но Рахманин пересилил неуверенность и нырнул в пургу, в снежную круговерт, напоминающую пляску бесов. Как в частую тёрку вдруг угодил — так скоро, нещадно надраило ветром скулы, лицо разогрелось, и сердце сошло со ступора, зачастило, и внезапная покойная радость сошла на душу. Живородящий хаос сначала оглушил, но вскоре выправил мысль, позвал к действию. Снег, как и пламя лампадки, неожиданно оказался нежным, шелковистым, потёк с усов в губы, как небесное молочное питьё. И снова вспомнилась Рахманину небесная Корова как покровительница домашнего устоя, вечная спопутчица и охранительница крестьянина на земле, ведь каждая жилка, каждый суставчик её, всё богатое жертвенное тело, от мясинки до шерстинки, шли на продолжение человеческого рода. И даже мелькнула блажная затея, а не поставить ли храм в честь Небесной Коровы, не вернуть ли ей звание Богини, но Рахманин тут же укорил себя за постоянную смущенность духа.

Метель скоро попритухла, разредилась, пошла на убыль, снежные змеи заструили по целику, по заледившейся, в катыхах дороге, укладываясь в плотные заструги. Рахманин брёл вроде бы без цели, куда глаза глядят, но ноги-то сами знают, куда нести человека, да и головёнка не пустой кашный котёл, в ней постоянно роятся пусть и неверные, сбойчивые, но ясные вполне мысли...

Юрья покружил вокруг мертвой стройки в завалах снега, теперь больше смахивающей на избяную клеть, и снова пожалел, что так бездумно сронил старинную кладбищенскую церковь. Стояла бы себе и стояла, хлеба не просила, нужды не приносила, но своим присутствием она невольно стягивала воедино время минувшее с нынешним, где обнаружилось столько порухи и небрежения к прошлому, а он, Рахманин, как бы сбился с «перессорщиками» в одну стаю... Тыфу-тыфу на вас, сором и стыд! Сгиньте, окаянные, да пусть очистительный ветер сметёт вас с русского большака в болотные сыри и сузёмки, к лужанькам в немирное соседство. Вот там и воюйте со своим племенем до скончания дней, пока не прижучит сухотка. Вот как запелось-то, братцы мои, кому из знакомых сказать — не поверят, и бывшее немирное с властью нынче кажется забавой юного «диссидента», которого за свары и склоки поставили в угол, чтобы не шалил, дурачок, и учил уроки.

И не странно ли: прежде Рахманин так не любил Советскую власть, постоянно видел в ней только досаду для себя и перетыки для творчества; а вот грянули новости, всяк загнал на свой лад, норовя перекричать, затмить и задавить ближнего, — такова суть

либеральной свободы слова, когда «я» лезет в каждую щель поперёд Бога, — и нестихающая горечь, опаляющая нутро, словно лопнул желчный пузырь, скрутила Рахманина, лишила последней воли. Будто сон, колдовской напуск, игра обавников — слуг дива над русским народом: так легко расселась страна, распалась на уделы, и никто не кинулся её защищать, отравленный высокими словами о свободе и воле. А с кем воевать-то, от кого держать оборону, против кого собирать войско, если врага внешнего не видно, но почти в каждом внутри червоточина, шаткое сомнение в истине Бога и власти, что хуже врага... Но когда опомнились, вошли в ум и искренне ужаснулись, глядя окрест трезвыми очами, а уж профукали казавшееся незыблемым государство, против русского национального чувства выстроились легионы «чужебесов», модернистов и абсурдистов, чтобы загнать обратно в подвалы. И прежние соратники вдруг отстранились от Рахманина, загнали его в колонию «нерукопожатников», руки не дают, боятся репутацию испачкать, на порог не пускают, иные спрятались в тень, исполняя строгий наказ президента: дескать, воровать — воруй, подлец и последняя сволочь, только не вылезай на солнце, чтобы начальник не наступил на твои уши. «Больше наглости! — возгласил главный либерал, рыжий Толя, и сошки помельче, утерев взмокший лоб, взяли под козырёк. — Грабьте, убивайте гоев, истирайте в порошок, труху и слякоть, забирайте их жизнь, имение, жён и дочерей... Гребите под себя, страна наша громадная, «много в ней полей, лесов и рек», как поётся в совковой песне, на всех добра хватит...»

Плут Мукосей (не путать с Борисом Березовским), что при Горбачеве ловчил с постельным бельём, его едва не прибили в Дагестане разгневанные бабы (хорошо, успел смыться в багажнике «Жигулей»), нынче в наместниках президента, и всяк губернский шиш под его рукою, готов сунуть «барашка в бумажке». Осмелел Мукосей после ельцинского переворота, обложил дачу кирпичом да ещё добавил два этажа, и его дворец, напоминающий синагогу и крепость с бойницами верхнего боя, далеко нынче видать. Вроде бы рядом живут, только озеро миновать, а не поваживает Мукосей Рахманина к близости, хотя в перестройку заискивал (собачонкой крутился возле ноги), к себе на гоститву не зазывает, с помощью не суется, приветов не передаёт; быстро вырыл непреодолимый ров, заслонился властью, совсем зачужел. Был пичужкой синепупой, а стал грифом с железным клювом... Даже от сворота на дачный выселок хорошо видать, как шатаются вокруг усадьбы два охранника с овчаркой на поводу, пасут хозяина от непрошенных гостей.

Вдоль кирпичной стены березняк вырублен, пробита следовая полоса, вот и бродят бездельники по кругу, провожают тоскливым взглядом облачка сигаретного дыма, ожидая манной небесной или очеред-

ного разноса от генерала КГБ Фёдора Попкова, по старости скинувшегося к «новому фармазону» на богатый кошт, «сытное едалово» и братское кидалово. Снова вернулись чудные времена бессмертной «би-роновщины» и такие знакомые нравы, лихо попирающие совесть, и опять вчерашние мошенники бесстрашно рулят государственным кораблём.

Мукосей сам неожиданно выскочил из калитки и уткнулся в Рахманина. Охрана бросилась на перехват, но не успела — Мукосей остановил её жестом. Как заметил Рахманин, старый знакомец сильно переменялся, расплылся лицом, ворсистая рысья шапка съехала на глаза, и наместник президента походил на казахского бабая, а фигурой на жука-скарабея.

— Вот так встреча! — вскричал Мукосей, раскинув для объятия руки, шагнул навстречу. — Какие люди, какие люди заблудились в наших краях! — Однако посунул для пожатия узкую сухую ладонь, словно бы принакрытую пашенцом, вялую, какую-то немощную, и тут же отнял, едва коснувшись, спрятал в карман. — Как живём-можем, старичок?

— Да так... Живём, хлеб жуём...

Рахманин неопределённо пожал плечами, снова с удивлением заметив, как изменился Мукосей: своим плоским лицом, побитым оспой, сросшимися черными бровями над жгучими глазами и щетинистыми усиками над губой он нынче крепко походил на татарского мурзу. Недоставало лишь плётки-трёххвостки. Видит Бог, ничего еврейского в Мукосее не осталось, как водой смыло: плотный, широкоплечий, на кривых ногах, будто только что слез с походного коня, говорит ёмко, не частит, заикаясь, не трещит, как бывало, пулемётом — ни одного слова не разобрать. Видно, должность и сытая жизнь кроют по тайному лекалу, вылепливают нужного человека, ставят особые отлички и властные повадки. Правда, вот руки подводят: тонкие в запястьях, какие-то не доросшие, крюковатые и тощеватые, не к должному месту пришитые; так ведь не саблей махать, а бумажки подписывать и печати шлёпать.

— А меня стройка одолела... Пригласил бы к себе в гости, да в комнатах шурум-бурум... Служанку отпустил в отгул, жена в Москве, свой бизнес. Один идиот колотил из досок вавилонскую башню по проекту лучшего столичного архитектора, без моего присмотра рухнула, грохот был на всю губернию. До столицы шум докатился, послали сюда в наместники, выправлять ситуацию. Как-то надо поднимать из спячки народ, приводить к уму, стричь да брить... Взялся, пока силы есть, куда деваться: иль грудь в крестах, иль голова в кустах... Порядка никакого, разболтались совсем, лень, пьянь, морды не умоют. Нет-нет, царства божия на земле с этим быдлом не наследить... Да и не хотят, вот беда: вор на воре, и тащат всё, что плохо лежит. Не поверишь? Везде разор, как мамай проехал, сам знаешь, какую страну к ру-

ководству приняли: ни пожрать, ни выпить, идиот на идиоте, сидят, ручки скламши, и какого-то хрена ждут с небес, привыкли на халяву; помнишь, какие очереди стояли за кружкой молока и кусочком масла. До Луны ближе...

У Мукосея были новые лимонной желтизны зубы, наверное из слоновой кости; казалось, они занимали весь рот, потому, наверное, и говорил медленно, отрывисто, откусывая слова. Командная речь шла к наместнику. Он неожиданно хрюкнул, с довольным видом оглянулся на свои хоромы с фигурными башенками и бойницами на чердаках, за которыми, наверное, таилась охрана с гранатомётами.

— Довели большевички Россию до ручки, поставили раком... Ну, да ничего, вытащим... А ты-то как, Юрий... Сто лет не видались, заматерел, видный такой стал.

Мукосей замялся, забыл отчество, а генералу запанибрата ну никак нельзя. Охранники торчали невдали, уши топориком, всё мотают на ус.

— Да, вот так. — Рахманин неопределённо махнул в сторону кладбища, где безобразной надолбой, полужансенной снегами, торчала храмовая клеть, накрытая белыми пушистыми малахаями.

Метель неожиданно усмирилась, дали по-за озером над синими борами прояснились, продёрнулись розовыми нитями, скрипучий снег-свежачок налился искристым морозным светом, слепящим взор. Как хорошо, как вольно там, вдали от людей и забот. В лес, что ли, съехать, вырыть землянку и забиться до конца дней напрасной жизни? Янина ругал, что прожигает зря время, а сам-то каков? Опаршивел, как бродячий псишко, закоростовел, дни, словно песок, сыплются меж пальцев, ничем не задерживаясь в памяти. Проклятые бесермены отняли последнее желание: ни к бабам тяги, ни к вину, даже всякое необходимое дело по хозяйству превращается в тугой хомут. И неуж эта порча напала на всю Русь и окончательно обезволила её, готовую окончательно развалиться? Даже деньги пошли смешные, на миллионы, придётся свинью заводить.

Рахманин ворохнулся плечами, сбрасывая муторные мысли, сурово, мстительно взглянул на Мукосея, ничем не выражая трепета перед могущественным наместником, открыто презирая этого выскочку. И Мукосей услышал враждебный вызов.

— Знаю... Вижу... Но помочь не могу... — сухо сказал наместник, ставя на этом точку в разговоре: дескать, повадились нынче просить, а на всех ломоть хлеба не поделишь. — Поиздержался, Юрий Михайлович, — вспомнил вдруг отчество. — Мой совет: поезжай к владыке. Бог в помощь...

— Обойдётся как-нибудь... Бог не выдаст, свинья не съест...

— Ну, смотри... У тебя участок... Зря земля гуляет. Продай Алмазову. Я знаю, он купит.

— Спасибо за бесплатный совет... Премного благодарен, — добавил Рахманин с ехидцею.

Он отвернулся от Мукосея и, не попросившись, свернул с дороги, направился целиною к избёнке Царя. Проваливаясь в снег по рассохи, забывая снегом голяшки валенок, зло думал, сердясь на себя за то, что решил просить помощи у Мукосея: «Спасибо, что хоть в дубьё не взял, а могли бы его псы навозить в бока... Дрянь человек, а что о себе возомнил, Бог ты мой! Ну прямо Наполеон, Александр Македонский... Его бы к психиатру отвезть на Белую Гору, а он над губернией расправил крыла... Если этот отпетый мошенник стал наместником «государя», так лучше бы вернулась советская власть с её тупыми держимордами и ленинскими тезисами «о компромиссе», чем эти чванливые недотыкомки, ничего не смыслящие в хозяйстве, ничего не державшие в руках тяже куска ржанины и бутылки шнапсу... Какая-то крысиная стая... Нет-нет, лучше не думать об этом, не травить себя. Как объявил именитый антисоветчик: «Диссиденты целили в коммунизм, а попали в Россию». Ха-ха!.. Если бы эти сволочи целили, — не промахнулись бы. И никуда они не целили, ибо считают Россию своею, это крапивное семя «золотого идола», а лишь подгадывали момент, из подполья вынюхивали и выглядывали в замочную скважину, где деньги плохо лежат, чтобы притырить; сытный денежный запах тянет именно с русских берегов в сторону неметчины, где давно уже живут «эрзацем» и воспроизводят «эрзац»: колбаса, масло, пиво, искусство, книги, девки — сплошная химия и аптека. Истребили в двух войнах всё родящее поколение и выпихнули на Русь орды недотыкомки, извечно презирающих русское племя, по их мнению занимающее чужую землю. И не в Россию они целили, а в ненавистную непонятную русскую душу — и попали в самое яблочко. А может, промахнулись? Дай-то Бог.

Пока пробивался через забор к избушке Янина, сопрел и задохнулся. Ни следа человеческого, никто не споткнулся о забытое крыльцо, не отмахнул навальные снега лопатою, пробивая тропу. Значит, и Даша не бывала, не протапливала домик, не поджидала мужа-бродню. Лишь заяц-находальник ввечеру, перед пургою, проскакал под темными окнами да и скрылся, дуралей, в чернолесье, пока не сгорстала лиса-сиводушка.

...Своя земля и в горсти мила. Случайно попал Рахманин на делёжку свободной десятины ещё в советские времена, прижался к другу Янину и отхватил за компанию изрядный ломоть в двадцать соток. Намерил саженью Электрон Андреевич, председатель сельсовета, тот самый смешливый «юморной мужик», песельник и гармонист, что сбежал с женой Пиросмани от пятерых девок. Разгульной натурою, наверное, взял тоскующую бабёнку, да недолго и с нею ужил, потянуло налево лихого кавалера. Что и

говорить, судьбу на хромом осле не объедешь, догонит и носом в грязь, дескать, чего рылом крутишь.

Загнать надо землю, продать тому же Алмазову, зря лежит в запуске, зарастает чащинником и репейником, да ещё повадились дачники всякий мусор на неё свозить, превратили в свалку. Глаза бы не глядели на эту стыдобу. Нет, не станет из Рахманина рачительного мужика-куркуля, никак не заузить художественную душу, да и деятельное время упустил, гвоздь нынче лень в стенку забить; а ведь думал поначалу семью расплодить, чтобы сам-десять, скотину завести, сад навтыкать, чтобы под окном гудела от пчёл развесистая яблоня, грузная от плодов, как баба на сносях, смотрелась бы с улицы в избу, заманивала хозяина, курносая, под раскидистый подол, куда росными утрами падают со стуком перезревшие райские яблочки, облитые легкой восковой желтизной, прозрачные на солнце, а сквозь медовую мякоть «белого налива» проглядывают из сердцевины, словно цыплята из-под наседки, глянцево-темные семена. Это видение уже лет двадцать из ума нейдёт, но для подобной картины, чтобы написать её, оно всегда казалось пошлым сюжетом. А ведь для полноты житейского счастья просто невозможно представить что-то иное, но на холсте не передать сердечного изумления и восторга, кисть спотыкается и краски мертвеют, сколько бы ни издевались постмодернисты над натуральной школой. Вроде бы до пошлости всё просто, знай, крась, что видишь, никаких особых живописных ухищрений; но не диво ли: глаз схватывает, а рука немеет, и душа наливается тяжким свинцом... Воздух не передать, и запах, и движение соков под корою, густой пчелиный гуд, разговор яблони с кудрявыми облачками, счастливое биение собственного сердца, рвущегося вон от внезапного восторга, не передать в цвете той внезапной молодости, которая, кажется, вдруг возвращается из минувшего и уже никогда не оставит тебя... Боже мой, как беспомощна кисть перед Божьим творением! Потому и смеёмся, несчастные, от зависти, не понимая, что вышибла нас природа «на сто первый километр» за остылостью в груди, за богооставленностью, как развратительное семя человеческое, не способное к божьей любви.

...Можно бы к Горыне пройти большаком, а пробираюсь, как партизан из засады, — не раз укорил себя Рахманин, проваливаясь в коварные просовы и цепкую древесную падь, призасыпанную высоким снегом. Измучился, пока тащился вдоль стены из красного кирпича до парадного входа.

Воистину: кому война, а кому мать родна. Подравнялся Алмазов по достатку к самому губернскому наместнику, и по усадьбе понятно, как высоко в небесах летает нынче художник, самому Глазунову пятки подбивает. Ухватил, зная, жар-птицу за хвост... Поди, и не припустит Горыня к себе, дескать, по-

стой, формалист-неудачник, у подъезда с протянутой рукою, пока не вынесут милостыньку.

Спрашивается, чего с ним делили столько лет, с какого перепугу лаялись? Пришло время, и споткнулись о смысл жизни, когда время петь отходную. Он богат, я беден: он в семье, я бобыль; он катается по миру, я в монашеском затворе, никого не вижу; он при власти, я в изгоях; но оба со временем потеряли что-то такое важное, на чем строились наши мечтания в молодые лета, живем плотью в России, но съехали душою из Отечества и затерялись во мгле. И никакого отныне соперничества, ревнивого пригляда и любопытства. Вроде бы ещё и не старики, но будто закончители в желаниях. Наверное, так и должно было случиться, ибо недостало любви и дара. А может, я всё придумал? Может, мне только кажется, и свою смуту я скидываю на Алмазова, а он вполне успешен, доволен судьбою, и упитанности тела ему вполне хватает, чтобы усыпить тревогу? Посмотрим, как окопался Горыня, как упаковался; сплетничают на деревне, иностранцы не вылезают из усадьбы, чтят умельца, из рук в руки передают художника, как драгоценный дар, средств не жалеют, чтобы запечатлеть свою физиономию на холсте для потомства.

Рахманин оббил у входа валенки, приогляделся, позвонил. Над головой в привратничьей отпахнулось оконце, выглянул смуглый калмык или киргиз (не разобрать) в войлочной остроконечной шапке, похожей на шишак, и спросил на ломаном гортанном языке:

— Таби кыго?.. Ты кыто?

— Скажи хозяину: Рахманин пришел...

Сторож почмокал языком, размышляя, звать — нет. Наконец притянул створку, исчез. Рахманин долго топтался, упрекая себя, что явился за помощью, а просить не хотелось, душа не лежала. Ворота тяжелые, из толстого полосового железа, с кованой ажурной решёткой и острыми пиками поверху; всё солидно, благопристойно, неприступно и внушало невольное уважение к владельцу поместья. Эко размахнулся Горыня, как новый мурза с солидным капиталом. Над сторожкой куполок с восьмиконечным крестом, настоящая надвратная часовня. Икона Богородицы выложена из цветного муравленого стекла, в нише горящая расписная лампадка в виде пасхального яйца. Створки въездных ворот поставлены плотно, лезвие ножа не просунуть — значит, есть что хранить. Прильнул глазом, чтобы высмотреть двор Алмазова, да уткнулся взглядом в резиновую накладку.

«Но все усилия напрасны, — вспомнил Рахманин чужую стихотворную строку, — хотя и женщины прекрасны. Остался пепел наважденья да помраченные виденья...»

— Алма-зо-ов, ау-у! — протянул Рахманин и резко повернул от ворот, чтобы сбежать, как жалкий трус. Но тут всхлопала с оттягом калитка, Рахманин обернулся и увидел простоволосого мужика в белой

овчинной выворотке, обложенной по подолу куньим мехом: хозяин смахивал на дородного купчину первой гильдии, возле робко жался тот самый привратник в зипунишке, подбитом «ветром», и сучил от холода сапожонками. Видно, Алмазов держал службу в строгости, чтобы служба мёдом не казалась.

— Муса, ступай к себе, не солодиись перед носом...

Сторож поклонился, напялил на голову войлочную шапёнку.

— Юрий Михалыч, пожалуйста в дом, — с видимой почтительностью пригласил Алмазов. — Пока-то дошло, кто припожаловал... Такой гость... Честно говоря, не ждали.

Рахманин слегка растерялся такому приёму. Лет десять не видались, прежде знал грузного, брюхатого, с расхристанной бородой венником, щекастого, скуластого, с зычным хрипловатым голосом, самодовольного живописца, пригретого властью, а тут встречал притушенный, с прижавленным, грустным лицом человек совсем другой выделки; волосы коротко прибраны, стекают на изборожденный морщинами лоб узким мыском, прошитым толстыми серебряными нитями. Нам-то кажется, что только мы неизбежно стареем, ежедень взглядывая в зеркало, охотно сдаёмся во власть прожитым годам, а все знакомцы и ровесники остаются в прежнем цвету, неподвластные возрасту, — так милостива к ним судьба. Ну как тут не растеряться от удивления, оказывается, все плетёмся одной тропой в грядущее забвение, угадывая следы прошедших ранее. И оттого, что Горыня сильно переменялся, а значит, заботы тяжёлым грузом проехали, и по нему, Рахманина вдруг потянуло к Алмазову, и он невольно приотмяк сердцем. Чего тут суровиться, верно? Строить из себя судью? А за что судить? И, сломав гордыню, Юрия приобнял Алмазова, троекратно приложился колючей шерстью к его щекам, и Горыня охотно принял православный обычай, словно ждал его.

Хозяин обхватил гостя за плечо и ввёл в прилежно выметенный двор, тесно заставленный службами.

— Стоит избушка на курьих ножках, на повернутых пятках, — похвалился особенным образом Горыня, указывая на каменный особняк в два этажа с мансардою и двумя башенками, на которых мостились флюгеры — цветные мозаичные петухи.

— Какая тут избушка... Барский особняк.

Рахманин остановился у парадного входа, задрал глаза на вышку, перевёл взгляд на высокие стрельчатые окна с резными полотенцами, наличниками и балюстрадами, с полукруглыми фонарями по углам дома и коваными решетками; всё было вычурно, но с художественным вкусом, даже с некоторым изяществом, и стоило больших денег, отметил про себя Рахманин, почувствовав укол зависти, но и внезапно прижавая Алмазова; вот помрет мужик, куда это всё девать? Кто мало имеет земного, тому не жалко и уходить.

Рахманин вплотную пригляделся к Горыне и вновь нашел в нём грустные перемены: у Алмазова был тоскливый, собачий взгляд и большое, серое лицо с коричневой сыпью на висках. Плохо ест человек и мало спит. Значит, гнетут худые мысли. Иль болеет давно, иль усердно постится... А может, с сыном что? Они стояли молча, словно бы пугаясь войти в дом, полный привидений, не зная, как заговорить; Рахманин безо всякого интереса шарил глазами по двору, по хозяйственным службам, ставленным из красного кирпича под черепицу.

— Вот так вот и живём. — Горыня небрежно взмахнул рукою, рисуя ландшафтную картину, явно гордясь ею. На вышке распахнулось оконце, и женский голос позвал:

— Долго там будете торчать? Горя, не морозь гостя, ведем в дом.

— Приказ начальника — закон для подчиненного. — Алмазов услужливо, несколько театрально отпахнул дверь, пропуская непрошеного гостя.

— Посмотрим, как живут нынче новые господа, — подпустил шпильку Рахманин, входя в просторную прихожую, с хрустальной люстрой чешского стекла, напоминающей церковное паникадило, с книжными шкафами и просторным столом на «звериных лапах». На второй этаж вела широкая лестница с ковровым покрытием. И всюду была чистота, слепящая взор, но не висело на пустынных стенах ни одной работы хозяина.

— И долго вы там? — В дверях появилась хозяйка, стриженная под мальчика, с близко поставленными голубыми острыми глазами, похожими на два ружейных дульца. — Юрий Михалыч, проходите на кухню, чаю попьем.

— Чай, это хорошо. Чай не пьешь, откуда сила? Чай попил — совсем ослаб, — пробасил Рахманин.

Хозяйка ему вспомнилась сразу, хотя и стала нынче другой, потеряла деревенскую простоватость; одетая неброско, во всё черное, в бархатной беретке, похожей на скуфейку, она напоминала нынче монашену, что в поисках идеала уходит из «образованных кругов» в монастырскую жизнь и в ней с тихой улыбкой на губах угасают, как восковая свеча.

— Вы нас извините, мы гостей нынче не ждали, в доме такая неразбиха, ещё не успела прибраться.

Зиночка ловко, непринужденно подхватила Рахманина под локоть, тонкой, но жесткой рукой, призывавшей повелевать, прижала к себе. Она шагала широко, прогонисто, не считаясь с желанием гостя; была вроде бы рядом, но и где-то далеко в своих мыслях.

— Угощать особо нечем.

— Ничего, разве что чашку чая. Вы не хлопчите... Шел мимо, думаю, дай-ко зайду. Всё-таки не чужие, — успокоил Рахманин, разглядывая кухню, забранную в дерево, с низкими тёмными потолками, с широкими матичными брёвнами, напоминающую

старинную боярскую, времён Алексея Михайловича избу с мелкими оконцами, забранными в решетки с мелкой ячеею, куда плохо попадал снежный свет с воли, и электрическими свечами по стенам, которые слабо разбавляли полумрак.

Кухня явно была списана с немецкой гравюры, на которой изображался быт германца или фламандца семнадцатого века, устойчивый, несколько коряжистый, самоуверенный и самодовольный, с оттенком незыблемости семейной «фамилии», уходящей в древность. А может, и нынче западные прибалты хранят традиции и они пришлось по душе Алмазову? Вдоль правой стены длинная плита с медными начищенными поручами, с развешанными на них щипцами, ложками и кочережками, тазами для варки варенья, напоминающая странный обмелевшийся корабль, с десятком вместительных кастрюль над нею для флотской команды. Посередке массивный стол, стулья с высокими спинками, неподъёмные, словно привинченные к полу на болты. Рахманин протиснулся, уселся, не сдвигая сиденья, и будто погрузился в ковчег; снова поогляделся, привыкая к месту. Кухня походила и на трапезную в старинном родовом замке, и на каземат, и на убежище, где хозяева затаились от внешних бурь, желая их пережить без особого урона для себя, в тишине и покое. Не хватало лишь кабаньих клыкастых морд и медвежьих оскаленных рыл по стенам, старинных арбалетов, военных топов и мечей, винтованных ружей и портретов предков в тяжелых резных рамах с гербами, потемневших от времени... Ну и таинственных привидений, чтобы придать дому (замку) романтический флёр.

С той же неугасающей кроткой улыбкой хозяйка выставила тарелки с мелко крошеной зеленьницей, горшочек с гречишной кашей, сосудец с оливковым маслом, поудобнее устроилась во главу стола, подоткнула скулу ладонью. Горыня уселся напротив Рахманина (из-за стола торчала одна голова), с собачьей преданностью уставился на жену, ждал команды.

— Вы, наверное, выпить желаете? — спросила Зиночка неожиданно звонко, с напором, мерцающая прилипчивым взглядом. — Извините, но мы не пьем... Горя, может, у нас что-то осталось от гостей?

— Откуда? Я всё вылил в раковину, чтобы не пахло... Не пьем и не курим, — отрезал Алмазов, с каким-то непонятным раздражением.

— Вот видите, Юрий Михалыч, мы не пьем и не курим, — поддержала хозяйка. — Ведём здоровый образ жизни. Вы знаете, жизнь так коротка и так хочется сделать как можно больше, как заповедал Господь. Народ об этом редко задумывается, вы не находите? Ведёт себя бездумно, просто безобразно, будто собрались жить тыщу лет. Мотают дни, оттапливают от себя годы, прожигают последнюю копейку, только бы задурить голову и ничего не знать.

— Нет-нет, я не пью... Лишнее это всё.

— И правильно. Тогда будем обедать.

Горыня поднялся, повернулся к божнице, где мерцали образа, колыбался огонёк лампадки, скороговоркою пробормотал «Отче наш», крепко ударя себя перстами. Потом быстро накидал из обливного горшочка каши в глубокую миску и принялся азартно есть, упершись взглядом в стол.

— Извините, Юрий Михалыч, у нас никаких разносолов. Вы, наверное, по-другому привыкли? У нас всё просто. Мы с Горей постимся, предпочитаем здоровую натуральную пищу, чтобы не нагружаться. Это очень опасно, несварение желудка, опять же кожа плохая, ноздрястая, серого, древесного цвета. От неправильного питания застаиваются соки, члены деревенеют, откладывается жир, кровь густеет, сбивается в тромбы, закупоривает сосуды, отчего частенько случается инфаркт или инсульт — болезнь века, особенно в нашем возрасте... Потому что неправильно питаемся.. А зачем нам лишние переживания? Верно, Горя?

— Угу, — подтвердил Горыня, заскабливая большой серебряной ложкой посуду, запивая темным травяным отваром. — Замечательная гречка. В Америке такой не поешь. Люди там живут в общем-то приличные, ничего худого сказать не могу, хорошо живут, не как мы, дикари, но самоуверенные до идиотизма, толку не видят в природной еде, лишь бы брюхо набить... Скверно они едят, как-то по-свински, рот можно порвать. Мать-сыра земля нам подсказывает, как вести себя, а мы её не слушаем. Родную матушку не слушаем, так чего хорошего ждать от жизни? Каких кулебяк с палтосиною? На-ко, выкуси, ха-ха! Сухарика ржаного не хочешь?

Горыня слепил фигуру из трёх пальцев и сунул в сторону гостя; пальцы толстые, и фи́га получилась коряжистая.

— Выпендрёжники... И мы тоже хороши, охломоны. Всё бы нам разрушить и на свалку.

— И чаю мы тоже не пьём. И кофею... Только слушайте Спасителя, и Он всё вам подскажет, — уточнила Зиночка, видимо, уселась на любимого конька. И вдвоём, если уважливый муженёк да ладно спелись, тоже не станет тесно. — От чаю-кофию в животе гнетая, скапливается вредный воздух, кишочки пучит, спирает дыхание, и оттого ночами навешают дурные сны... Раньше-то не пили чаёв и потому крепко спали, и люди были куда крепче... Нынче ужас что наснилось, настоящий конец света. Сон надо наладить. Плохой сон — это ранняя старость, скверное настроение, беспричинная тоска, телесная вялость, частые запоры, морщины и отёки под глазами, и вообще так всё ужасно вокруг, что жить не хочется. Спать надо много, Юрий Михалыч, ибо сон — это особая статья, о нём много можно рассказывать. — Зиночка хлебнула кашки, вернее, положила на зубок щепотку гречки и отложила ложку. — Юрий Михалыч, вы нашего хлебца отпробуйте... Я свой

выпекаю, как в старину. Батоны лавошные мы давно не едим, там черт-те что намешают, отравиться можно, про настоящую пшеничную муку уже давно потеряли понятие, как и про душистый белый хлеб, чудный запах которого — не соврать — разносился из пекарни на тыщу вёрст... Сначала проращиваю рожь, подсушиваю, мелю, потом ставлю тесто на опаре. И никаких чтоб дрожжей... Вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь... Можно, я вам положу?

— Только немного... Я дома недавно ел, — неожиданно соврал Рахманин, хотя во рту маковой ро-синки не было.

Гречка оказалась остывшая, без соли, без масла — недоваренная грубая крупа для сыроядцев, желающих жить вечно. Не каша, а сплошная польза для диетчика, который полностью вытравил из себя всякое удовольствие от еды, превратил наслаждение от русской кухни в нудную, но необходимую загрузку утробы топливом.

— Ну и как?

Зиночка не снимала изучающего взгляда с лица гостя, старалась уловить истину: не солжет ли? Или оценить здоровье, поймать червоточину? Меж хозяином и гостем как бы завязался поединок, в котором Зиночка присвоила себе роль судьи.

— Нормально... Зато не растолстею.

— Нуда, легче будет лететь, — меланхолично заметила хозяйка и тщательно утёрла губы.

— Откуда вы знаете?

— Я летала, я знаю...

Рахманин поёжился от многозначительного странного намёка. Сознание его слегка спуталось и поплыло.

Он вроде бы сухой телом, поджарый, как гончий кобель, не чревоугодник (а где гостевать-то?!), с утра перехватил, что осталось с вечера в печи, и до захода солнца в трудах. Но, странное дело, губы у него словно у сластолюбца, — ярко-красные, налитые кровью, совсем юношеские, так и выпирают с вызовом из смоляной бороды, прошитой седыми нитями. Наверное, они-то и смущали постницу-монастырщицу. Разговор, на первый взгляд, переливался из пустого в порожнее — от безделицы тянули время, но Рахманин и не поторапливал, куда спешить холостяку, пытался сердцем врать в необычную семью «нового Алмазова», неустанно кочующего по миру.

— Вкусно питаться вредно, Юрий Михалыч. А вы, наверное, любите сытно покушать? Бесы уловляют наши желания и заносят в свой тайный список. Скажите, вы в дьявола верите, или он для вас только сказочный сюжет?

Зиночка подмигнула мужу, втягивая его в беседу. Но Горыня, закрыв глаза, с каким-то сладострастным ожесточением расчесывал на виске невидимую «козюлинку», досаждающую ему уже не первый год.

— Многоядение на человека нападает неожиданно, и трудно оборониться от него. Вы себя, Юрий

Михалыч, берегите. — Зиночка кинула взгляд в миску Рахманина. — По себе знаю.

— Пока Бог пасёт, — успокоил Рахманин сердобольную хозяйку. — А там жизнь покажет: смеяться или плакать.

— Вот-вот... Поддался дьяволу — и бедная неприбранная душа наша тогда тоскует и плачет, и Бог в ужасе бежит прочь. И неужели Спасителя можно променять на жареную грудинку или свиную отбивную с кровью? Это какой ужас!.. Ведь мы созданы по образу Божию не для того, чтобы, как звери, пожирать мертвечину и падаль. Вы понимаете меня, Юрий Михалыч? Надо жить в духе, а не в еде... Лучше всего питаться солнцем и цветами, жить в гармонии с природой. Ведь вы верующий человек? У вас и крестик есть на груди? Покажите, пожалуйста.

Рахманин вспыхнул от вопроса. Как назло, утром сполоснулся в бане и, одеваясь, крестик забыл в сенях на вешалке.

— Зиночка, прекрати... Что за фарисейство? — вмешался Горыня, очнувшись. — Какое тебе дело до чужого крестика? Носит — не носит... Крест свой надо достойно нести, а не крестик. Это бестактно и оскорбительно и похоже на дерзость, противную Церкви. Влезать в чужую душу без разрешения — это как басурманину войти в алтарь. — Упрёк прозвучал неожиданно резко, с вызовом.

Зиночка в душе оскорбилась, но не кинулась вперечку, не окоротила мужа, только свела губы в нитку, как великая постница. Знала, понятливая: всяк сверчок блюди свой шесток. Слово надо вовремя поймать и прикусить на языке, чтобы после не рвать на голове понапрасну волосы.

Отошла к плите, понурясь, загрела посудой, мельком обмахнула глаза, наверное, сронила слезу. Горыня проводил жену взглядом, завиноватился:

— Зинуля, прости, обидел... С языка сорвалось. И ты, Рахманин, нас прости...

— Да ладно, пустое... На каждый чих не наздравствуешься... Как ваши дети?

— А что дети... Всё слава Богу. Младший в Италии учится скрипке, старший подался в лавру Сергию послужить, за родителей бьёт поклоны. Мы за него так рады: есть кому молиться за Русь, значит, не погибнем. Намедни звонил, всё, говорит, хорошо.

Рахманин хотел узнать про Царя, но что-то оставило его.

— Старичок, как тут угадать, чем дело обернётся? Вилами на воде писано... Случай такой был. Как-то отправился мужик в церковь и, чтобы побереечь обувь, сапоги сунул под мышку. И вдруг запнулся, ротозей, о камень, и сбил на ногу большой палец. Поохал от боли, перекрестился: слава богу, говорит, что сапоги не обул, порвал бы. Вот сапог-то ему стало жалко, дураку. А что здоровья мог лишиться, семью обездолить, на это ума не хватило.

— Здесь своя кожа, а там покупная, — заступилась Зиночка за неведомого мужичка, разнося чай из двенадцати трав, собранных вокруг дачи. — Денюжки подай... А где они? Невольно из кулька да в рогозку. Забыл?

— Да нет, тут другое... Надо глубже посмотреть. Вроде бы разгильдяй русский мужичонко, с печи не стащить, если огнём не припечёт, лишь повернется на другой бок и снова задаст храпака, — рассуждал Горыня, медленно разматывая мысленную пряжу, как бы вычесывая её из виска, где копошилась неумная живулинка.

«Размышлял Алмазов здраво, но бездушевно, тускло, как о чужом племени, с которым не имеет спайки; в лице ни крупницы радости, ни искры огня, недоумения, печали и тревоги за будущее народа, словно бы разбежистые серые глаза повыгорели дотла от усталости за эти десять лет или омелились ещё там, в догорающей мастерской», — подумал Рахманин, снова прижавивая Горыню, как-то незаметно погасив былую ревность к удачливому живописцу.

— Это либералисты и демократы так болтают по телевизору из одного лишь отвращения к России, — возразил Рахманин, невольно укоряя хозяина.

— А мы телевизор не смотрим. Выбросили на свалку... Коммунисты, по-твоему, лучше? — огрызнулся Горыня.

— Я такого не говорил... Это меня гнобили, загнали в глушь, в Саратов, чтобы не рыпался. Забыл?

— Господи, кто бы знал, как я их ненавижу! — вспыхнул Алмазов. — И не успокоюсь, наверное, пока лысый трупик не выкинут из Мавзолея на свалку истории....

— Не всё так просто, — уклончиво заметил Рахманин, не желая вспоминать прошлое, чтобы случайным неловким словом не укорить самолюбивого Горыню. Ведь явился к Алмазовым не споры вести, не за поиском истины, а по неотложному делу. — Замечательный у вас чай, Зинаида, духоподъёмный, взор открывает, раздвигает миры, сердце греет, — польстил хозяйке. — Чай, угодный ангелам, которые пасут нас.

— Мне так радостно, Юрий Михалыч, что вы в Боге, цените божественные дары, опекаете душу. Это так здорово.

Женщина вспыхнула, расцвела, и монашеский застенчиво-покорный взгляд загорелся на мгновение ласковой голубизной. Но тут же приугас от монотонного голоса мужа.

— Эти поганые коммуны и вымели из мужика Христов образ. Они, они... Страна упала, и демократы подняли, поставили на ноги, указали, как надо жить, не позволили скатиться в пропасть. Где бы мы сейчас оказались?.. То-то... В крови бы утопили, — не отступался Горыня. — Увалень и лежебока русский человек... И что хорошего ты ждёшь от него? Разве не так?

— Ну да... Может быть. Но до Америки-то допёрли наши «обломовы», а немецкие «штольцы» застряли навсегда в своей закопченной европейской кухне, с куском эрзац-колбасы. Однажды господин Гончаров насочинял глупостей, заразил ими Европу, чтобы насмехались над нами, и мы, попугаи, до сего дня верим, что русский мужичок — несусветный лентяй, раб, и негде на нём пробы ставить. Жирный крепостник и бездельник Обломов валялся на диване, а народ ломил на него из последних, кашку варил и чулочки надевал, чтобы этот ленивый барчук не подох с голода.

— Тут другое, Рахманин... Это пропаганда, старичок, развесистая клюква об особенностях русского пути, придуманная русофилами, советский плакат, розовые очки, которыми мы завесили себе глаза... Вот, де, сообща-то блинами от дождя небо законопатим, плевками солнце потушим. И верили ведь байкам. А на деле?.. Крикни, что тебе плохо, — и никто не отзовётся, глухая стена, подыхай под забором, как блохастая собака. Вот ты церковь, к примеру, строишь, тебе кто помог?

— И не надо... Это мой крест...

— Вот то-то... Его крест... А мне? Как случилась беда, все отвернулись. Забыли, как звать. И не либералистов тут вина, не американских агентов заговор, не ротшильдов и рокфеллеров гнусный замысел, что Союз распался по швам, рассыпалась Вавилонская башня в три дня. И любимых иудеями и протестантами скучных, унылых «штольцев» всего мира трясет и пучит. То ли ещё будет, старичок, и не потому ли моей Зиночке постоянно снится конец света.

— Ну не постоянно же, — поправила жена, — а изредка, и это особенно жутко. Картины ада вторгаются откуда-то из преисподней прямо в постель, когда ты особенно беззащитен. Прямо страх божий, сплошной ужас! Кому это понравится?

— Ну всё, Зина, остановись... Сейчас заплачем. Не либералисты шили советский кафтан из гнилого сукна и не демократы из Коминтерна тачали сапоги из картона, и не евреи из Синайской пустыни устроили разборки в Кремле... С разбитыми ногами и дурной пьяной головой ничего доброго не сделаешь. К чему бы разумному ни подталкивали русского мужика, на всё у него один скорый ответ: а на фигу горбатить, всё равно помирать; голым родился — голым и уйду, у гроба карманов нет... На всё у него отговорка. Но, с другой стороны, православное прилежание крестьянина к труду: в гроб ложиться — а пашенку сей... И всё-то в русском наыворотку, мехом наружу для красоты-басы, ни характера, ни смысла не понять. Тухлая сердцевина, бессмыслица затей, разбродница желаний. Иди туда, не знаю куда. Русская печь — она же паровоз без вагонов, без руля и без ветрил... Сплошной бред сивой кобылы, и внутри бреда мерещит истина, которую хотят поймать по шу-

чьему велению; сумашедший дом, раскрытый настежь, разбежались по земле, и всяк дует в свою дуду, никого не слыша. Это только в небесах «и звезда с звездой говорит». Никакого в душе упора, тяги к сопротивлению, сплошная маниловщина и расслабуха, и в кармане всегда бездонная дыра, которую лень зашить, чтобы копилась копейка. Вроде бы и болонь добрая, косослой, без смоляных кармашков, а сердцевина тухлая, гниль, ткни — палец увязнет, не знаешь, за что крепиться... В церковь не затащишь, молиться не хотят, но рай-то подай, да чтоб сию же минуту, без протяжки. Европейца только центом придави, он толпами на улицы, из глотки хозяина выдерет свой грош вместе с языком. И попробуй не отдать! Во Франции жил, в Германии, в Англии, знаю этих горлохватов. А нашего таракана запечного разденут догола, вокруг пальца обведут, с три короба ему наобещают, а он — ерунда, переживём, хуже бывало, интересно бы поглядеть, что дальше будет. Всё рая ждёт... А чего дальше глядеть? Ямка, дорогой товарищ. Окстись, пока не опоздал, и ложись на вечный покой, на долгий отдых, как у Белого моря говорят староверы. С другой стороны, и ты, Рахманин, прав. Не остановили бы на Аляске, то и Америку бы всю под себя подложили, как дешёвую валяшку, чтобы после, зевая, протирая опухшие от пьяни глаза, вытряхнуть из памяти... Кто сейчас про Аляску вспомнит? А если кому и стукнет в голову ненароком, его свои тут же одёрнут: де, на чужой каравай рта не разевай, по одежке протягивай ножки. Принцип русского жизнеустройства: экономить на спичках, но спускаться на ветер ворохами. Вот тебе и сапоги подмышкой. Ноги в кровь, зато сапоги целы...

— Горя, давай не будем про политику. Так тяжело это слышать. Я устала, — жалобно попросила Зиночка и вмиг превратилась в горящую-пустынницу. — Конечно, в Америке хорошо устроились, слов нет... Живут себе в своём домике припеваючи, жуют гамбургер величиной с тыкву и дальше окна ничего не слышат и не видят. Благодать, и в ус не дуют.

— Вот так подумаешь, и такая тоска охватит, такая досада. Завыть впору... Какую страну раскурочили, пустили в раздрай, профукали, раздербанили. Опомнились, а уже поздно, песенка спета.

— И ничего не спета, — тусклым, дребезжащим голосом возразил Рахманин. Так вдруг устал от какой-то безнадежности, растворенной в воздухе, от давящих на виски сумерек, от низкого тяжелого потолка, от матичных балок, нависающих над головою, от спёртого кухонного воздуха, от метели, кидающей в стёкла ошмётки жидкого снега. — Всё у Бога в горсти, — добавил, помедлив. — Мы думаем всё, окончательно спеклись, ноги о нас можно вытирать, и вдруг однажды обнаруживается, что рано петь отходную, что всё ещё впереди и начинаем новый круг русского бытия.

— Ну, не знаю, старичок.... Не знаю. Для меня нынешнее время вроде бы хорошее, я будто хрусталь в вате, как птенец в скорлупе. Такое чувство. Зина, закрой уши... Но если бы принимал вино, надрался бы в дрезину, вдребезги, нажрался бы в лоскуты и в стельку. Честное слово. Только жены боюсь, вдруг отступится от меня? А куда я без неё? Пропаший человек, — признался Алмазов, и, потянувшись к Зине, ласково погладил ее по плечу. — А всё почему? Впереди край, бездна, и позади омут. То ли на острове живём посреди огненного океана, то ли в тюремном замке... Вспомни, старичок, какое хорошее было время, какие бесконечные светлые дали заманивали, — глаз ломит, сердце поёт, как загуляешь. Р-разойдись, народ, Змей Горыныч идёт! — с хрустом в костях потянулся Горыня, щёлкая костяшками, завывал над столом пальцы, словно бы разминал кулаки к бою. — Знаешь, много я дирировал на своём веку, бывало и смертным боем, кто — кого, и всё как-то сходило с рук. Значит, не судьба. И стреляли с трёх шагов, промахнуться некуда, и ножом перепадало, один раз в сантиметре от сердца, другой раз по шее полоснули. И пять раз тонул...

Горыня ударился в воспоминания, поплыл, удаляясь от домашнего берега всё дальше.

Рахманин заскучал, одеревенело глядел в стакан, на дне которого плавали хвоинки и былинки, напоминающие конский волос, угодивший из колодца с водою. Он вроде бы шевелился, свивался в кольца, если напрячь глаза. Может, сон морил и склеивал ресницы? Надо бы двигаться домой, но как-то неловко вот так сразу подняться и уйти из гостей, ничего не решив. Рахманин снова присмотрелся к устойчивому, сумрачному жилью, снаряженному для долгого плавания по бурному житейскому морю, и вдруг засомневался в его надёжности.

— А может, и хорошо, что песенка спета? Пора новую начинать, а не рыдать на своих похоронах, — настаивал Горыня, побуждая Рахманина к откровенности.

— Да как сказать... Сердечная песня не имеет концов, звук уходит в самую душу и там живёт до нового выклика. А нынче так всё спуталось и перемешалось. Ни слов, ни музыки, одно скотское мычание на водопое. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать?... Дурное всплыло на поверхность, и не добраться до чистых родников.

— А я добрался, — похвалился Алмазов. — Как-нибудь расскажу. Много перетерпел и добрался. И напился живой воды. Смотри, как живу. Может, думаешь, дьяволу продался?

— Да ничего я не думаю...

— Вот-вот... Когда сгорела мастерская, я в дурдом попал. Всё было уничтожено, все мои открытия, Господь всё смёл подчистую, чтобы не возгоржалося, и вдруг я оказался там, где надо было выживать.

В другой стране, в городе желтого дьявола. А? Ибо там, где я родился, я не пригодился. Бедные монахи помогли мне выжить и вдова Роберта Кеннеди. Открыли мне двери и сказали: давай работай, дорогой, а мы тебе поможем, чем сможем.

— Чего говорить... Ситуация была, конечно, непростая...

— Да, трагическая... Ха-ха, непростая... Хотя в петлю с головой. Тогда многие лезли в петлю, и стрелялись, и в омут с головою, и спивались. Много хорошего народа тогда утонуло в бутылке. А я выплыл. Зиночка с берега протянула руку, омыла мне глаза, и увидел я белый свет трезвыми очами. Господи, как он прекрасен! Америка же открыла мне Россию, открыла меня самого. Те люди стали платить мне деньги, и очень большие деньги, лишь за то, что я люблю живопись. Понимаешь, какое баловство? За океаном я осознал себя русским человеком, словно бы в новую кожу меня одели и кровь перелили. Значит, Господь меня любит и дал мне возможность разобраться.

— Случилось какое-то чудо. Как тут не поверить в Спасителя? — прошептала Зиночка, загоревшимся, влюбленным взглядом уставилась на мужа.

Рахманина вдруг снова уколола зависть, что не его, а Горыню выбрала эта удивительная женщина с тонким, трепетным лицом, напоминающая небесную гостью.

— Да, это чудо... И никак иначе. — Алмазов вдруг ожил, внутренне вспыхнул, воспоминания обожгли ему сердце, заставили взволноваться. — Но раньше я ко всем чудесам относился просто, без интереса. Мало ли что случается с людьми? Больше всего треплет на бытовом уровне. Мы к чуду относимся как-то потребительски, считаем, что Господь нам всё должен. Дай-подай. А что мы должны Ему — как-то забываем. Но для нормального христианина чудо повсюду, только откройся навстречу, наостри глаза. У меня были годы, когда я каждый день звонил в Рождественский монастырь, просил: помолитесь за меня, пожалуйста. И тут же всё становилось на свои места. Я из запоев выходил через госпиталь. По тонкой жёрдочке через геенну огненную, каждые два-три года у меня были жуткие провалы. Не дай Господь окунуться в эту трясику, со всех сторон хватают бесы за руки, ноги, за полы и штанины, тянут к себе, вопят, рвут зубами куски мяса, грызут заживо, захлебываясь кровью, дробят кости медными пестами, пилят грудь и голову острыми пилами... О-о-о! — длинно простонал Горыня, схватился за виски.

— Горя, не надо... Горя, перестань. — Жена испугалась, схватила Алмазова за плечи, притянула к груди, что-то стала ласково нашептывать в ухо, поднесла свой крестик к воспаленным губам мужа.

— Всё нормально, Зина... Это слабые отголоски... В последний раз меня отмолили в греческом монастыре, и с тех пор Господь миловал. Хотя всё

время диавол в затылке сидит и точит меня. Весенне-осенние запои. Это ужас. Они ночью приходят, кошмары душат. Смесь этих пожаров, крови, госпиталей, дурдомов. Не описать. Жена сделала меня человеком, вернула к жизни и дала возможность работать над собою, как христианину... Ну, ладно. Что это я всё о себе, ты-то как? — оттаявшим ровным голосом спросил у Рахманина, приоткрыв старинную запертую, пересилил застоявшееся отчуждение.

— Да что я? — Рахманин взмахнул рукою, сломав гордыню. — Да в общем-то никак...

От своего признания Рахманин вдруг почувствовал облегчение, словно в кухню с воли впустили морозную снежную струю. Художники так далеко отстояли прежде друг от друга, что даже первое робкое сближение через Бога вдруг высекло родственную искру. Словно бы жили не в одном городе N, а на разных краях земли, ничего не зная и не желая знать о судьбе ближнего: не было ни разговоров, ни вестей, ни общих знакомых, ни слухов, — будто темная бездна разрубила их путь, развела в разные стороны, и они так и двигались по жизни, не пересекаясь. А теперь Христос взял их за руки и сказал: почитайте друг друга так, как Я люблю вас. Хватит биться лбом о стену, оставьте за порогом обиды, ибо дверь всегда открыта для покаяния и прощения.

Горло Рахманина (что редко случалось с ним) сжала слезливая спазма, и, стыдясь невольной слабости, он оборотился к образу Христа в серебряном окладе, по которому скользили, змеисто мерцая, блики от горящей лампадки, окстился и сказал сухим, ломким от волнения голосом:

— Прости, Георгий Павлович, что всё вот так... Я же не знал. Пожалуй, я пошел.

— Куда вы? — вскрикнула Зиночка с удивлением. — Поужинайте с нами. У нас на вечер пшенная кашка с тыквой, киселёк на апельсиновых корочках.

— Спасибо! — Рахманин поклонился. — Зинаида Ивановна, вы удивительная женщина. Я завидую вашему мужу. И Даша хорошая. Я недостоин её.

— Ну ладно, будет тебе, — подхватил Горыня под локоть, потянул к выходу. — Я провожу...

— Ты по делу или так? — спросил Алмазов уже во дворе, снова тяготясь гостем. Целый день напрасно ухлопал, а время — деньги, так научила Америка; перед всяким не распахивайся, не раскрывай душу, не пуши крылья, держи в потайке свой карман, куда столько охочих запустить волосатую лапу.

Метель на воле притихла, на небе вылилась убывающая луна, и в голубоватом переменчивом свете снег шевелился, вспухал, напоминал выбродившее на запечке тесто.

— Господи, как хорошо-то! Какая к чёрту Америка! — шумно вдохнув воздуха, вскрикнул Алмазов и потянулся вверх всем телом, вскинул руки, готовый взлететь. — Век бы так жил!

Постройки во дворе как бы стеснились, услышав вскрик хозяина, потянулись друг к другу в один гурт. Привратник в сторожке включил свет, приоткрыл оконце, наружу высунулся островерхий шлём.

— Земли вот только маловато, — пожаловался Горыня и вдруг без перехода, без обиняков спросил Рахманина: — Слушай, старичок, может, продашь участок? Ведь зарастает, одни траты, чтобы обихаживать. А я заплачу, я хорошо заплачу, — зачастил, заторопился Алмазов словами, шапёнку сбил на левое ухо, чтобы лучше слышать ответ. — Я знаю, тебе деньги сейчас нужны, очень нужны на храм. Я дам, сколько запросишь, я даже торговаться не буду. Я тебе помогу. Хочешь, пятьсот долларов за сотку? За эту болотину и сырь никто больше не даст. Земля неродящая, кочки и мхи, бурьян и крапива. Одни комары, змеи и ежи. Гниль, темень, волки выбредают, разбойники с ружьями шляются. Это очень приличная цена, поверь мне. Надо берёзы валить, солнце застят, осушать. Много хлопот... Ну, дак как?

— Что? — поразился Рахманин столь высокой цене; может, шутит, дурака валяет? У мужиков-то сотку скупают, считай, задарма, за мешок сахарного песка.

— Ну хорошо, тыщу долларов, — уступил Алмазов, решив, что дешевле и Рахманин недоволен деньгами. — Двадцать соток по тыще. Это очень большие деньги. Хватит достроиться. Больше не могу, времена настали лихие, быют по карману даже в Америке. Ну как? Хочешь, деньги прямо сейчас. Всю сумму чистоганом, сколько причитается. А завтра к нотариусу. По рукам?

— Ну, коли не шутишь, если всё обмозговал, если не жалко.

...Они сердечно распрощались, словно и не было долгих лет неприязни.

Рахманин, чтобы не искушать судьбу, пошел дорогою мимо дворца наместника. Невольно планировал стройку, как ловчее и уместнее, без лишних затрат использовать деньги, чтобы этим же летом завершить храм. Вот болтают люди напраслину, дескать, деньги — просто бумажонки, дьяволя затея, игры лукавого, чтобы сосмутить податливую человечью душу и заполучить её в нети на вечные муки. А тогда отчего так весело стало на сердце, так тепло на душе и в груди словно хмельной песельник заселился и вот тянет на сопелке свою погудку и зазывает отчаянно сплясать топотуху, ибо ноги, братцы, сами несут, так и бегут по асфальту, даже не запинаясь о снежные заструги и ледяные катыхи.

Вот мучился, корил себя, что время напрасно убил у Алмазовых, и язык смозолил пустыми разговорами. Ан нет, братцы, не зря; это душевные речи пробивали тропку от сердца к сердцу, растворяли роднички любви и сострадания, это вроде бы необязательные слова отворяли слуховые оконца в зачер-

ствеющей от напраслин груди, и уже опосля, когда пришел момент и язык запнулся о зубы, хватило нескольких слов, чтобы умышленное дело сварилось в один миг. Всякому замыслу надо сначала затеяться мысленно, взреть и лишь затем оплодотвориться.

Давно ли всё казалось таким безнадежным и смутным, ни на что нельзя было опереться, и вот в одну минуту из-за черной, страшной в своей немоте тучи одним краешком выкурнуло солнце, принесло перемены, и жизнь сразу осветилась смыслом.

...Дорога огибала озеро о край сухих ломких камышей, вставших непроходимой стеною. Снега пучились, как сливки в фарфоровой чаше, издавали странное поуркивание иль зазывали кого-то в своё чрево, в глубине которого волновалась от напряжения бессонная растревоженная вода. Потоки голубого лунного света скатывались по угорам вниз и куда-то вдруг странно пропадали, словно бы утекали через расщелину в подземное русло. И внезапно Рахманин обнаружил, что всё озеро покрылось паутиною синих трещин, словно бы болотные гадюки, очнувшись от спячки, вылезли из лесных урочищ и коряжника и сплелись в причудливом любовном ератике.

Рахманину стало страшно, и он побежал на взгорок, где призывно светились деревенские огни.

Эпилог

Николай Янин вернулся домой в конце августа девятости восьмого года.

В клинике Склифосовского ему не дали умереть, прилично подлатали; потом, какое-то время прожив в послушниках в Сергиевом Посаде, он пополнел лицом, изредился волосами и стал походить на адмирала Нельсона; года через два черную повязку убрали, вставили стеклянный глаз, приделали, и наш герой, покинув лавру, нашел приют в общежитии Литературного института на Добролюбова и незаметно из Царя Николая превратился в заурядного, скромного московского мещанина, писарчука Янина, добывающего скудный хлеб из черниленки. Ничего не сохранилось в его физиономии таинственного, невольно останавливающего взгляд, и когда брел он в слитной столичной толпе, пригорбленный, с опущенными к асфальту глазами, какой-то линиялый от макушки до пят, как летний тундровый песец, и когда сутулился одиноко на лавке бульвара, продавая газету «Завтра», никакая отметина не выдавала в нём человека в общем-то бывшего, выдающегося, с которым любопытно поговорить, может, и необыкновенного по замысловатой своей судьбе; так себе, серая мышь, каких множество по городским закоулкам, скромный письмоводитель, бухгалтер журнального издания, служба при церкви, от которого постоянно пахнет

свечным ящиком и кадильницей. Он стал человеком покоя, с незамирающей улыбкой на губах, с той редкой внутренней тишиной, когда улеглись все бури и вихри мятежные, умирившись окончательно, покинули когда-то смятенную, взволнованную грудь. И слава богу, что мир на самом-то деле не без добрых людей и обошелся с Царём по-братски, как ни смотри на простецов искося, с брезгливостью и недоверием; «земля», как ни беги от неё, как ни вороти носа, улучит крайний миг и отыщет возможность, чтобы будто бы случайно вмешаться в сиротское житьё бедолаги и навести в нём мало-мальский порядок.

Судьба русского диссидента-сопротивленца всегда висит на волоске от смерти и зависит от случая, особенно если он сутырлив, небрежен к себе, не умеет ловчить к своему прибытку и выгадывать, если совесть и сострадание к ближнему для него выше равнодушного, закосневшего от стужи закона, не замечающего слёз и мучений того, кто угодил под меч правосудия. Да, шёл Коля Янин напролом, не виляя; да, был забулдыга, пьянь и рвань, но ведь никому не сунул на повороте спицу в колесо, не зажилил чужой копейки; да, не ломал горбину, как раб на чужой галере, но постоянно тешил свою волю, как высшую Божью отличку.

Борис Иванович Евсеев был убит снайпером ранним утром пятого октября: его нашли на берегу Москвы-реки с дыркой во лбу, с отрубленными кистями рук, раздетого догола. Коля Царь не мог проводить своего спасителя в последний путь, ибо в эти дни сам гулял по небесным палестинам, подбирая себе кудрявое, взбитое, как сливки, облачко для «долгого отдыха». Но, вернувшись в ум, Царь уже не забывал своего таинственного ангела-охранителя.

Алёшу Алмазова, принявшего постриг, послали к монашеской братии на Соловецкие острова.

Янин вступил в полк трезвенников под началом отца Дмитрия Дудко и теперь на дух не переносил водки; всё нутро в каком-то болезненном ужасе отпрядывало от рюмки, видя в ней одну лишь отраву. Коля перестал пить, и времени появилась уйма, но как убить его? Ни буйных в подпитии компаний, ни пустых словесных сражений, когда каждый слыл за пророка и мудреца, ни временных любовных утех, которые непременно вспыхивают под винными парами, кружат дурную голову и толкают мужика на отчаянное безрассудство...

Казалось, стрелки на часах заржавели и замедлили бег, отступили бредовые сны, постоянно навешавшие в пьяном забытии, но зато ночи стали долгими, и так нехотя вставало на востоке солнце, блуждая в утренних дождевых тучах. Голова была трезвой, но пустой, словно бы все мысли, скопившиеся за последние годы, вылились из мозга в ушные раковины и нечем было заполнить гудящую пустоту извилин. Янин решил окончательно опроститься, чтобы стать травой на выпасе для коровьего стада, пусть топчут копытами и режут зу-

бами, прежде чем угодить скотинке под нож. Хотя какая-то польза от его присутствия на белом свете... Янин не был безумен, пуля удачно миновала в голове все «колбочки и бутылочки» и вышла за ухом, не натворив беды. «Господь тебя хранит», — сказала медсестра в палате, убирая за раненым. Но смысла-то не прибавилось в жизни. По ночам во сне навещала какая-то девочка, то ли первая дочь Лизавета, что замужем за «дойчем», возится со своим немецким выплодом; то ли Настенька, которая уже выпросталась из окуток, встала на ножонки и просится к тятю на колени, то скулит, как щеня, то плачет навзрыд. «Вот для неё-то, наверное, и стоит жить», — однажды твердо решил Янин.

И в конце августа он вернулся в Ижму.

...Ветер-«полуночник» разгулялся, выбивал слезу из глаза. По свинцовому пустынному озеру чередой бежали белые барашки, слушаясь невидимого пастуха с кнутом. Изба Пиросмани почернела, прогнулась в хребтинке, клюнула передом к земле, и замшелый трухлявый палисадник тоже покривился, едва проглядывая из розовых куртин иван-чая и железных стоянцов каравайника. Знать, мужик поддался годам, и теперь ничто не манит его по хозяйству, совсем отпали руки. Вот и дождевой жёлоб свалился одним концом с «курицы», и некому поднять его на своё место. И окна заилились, цветастые шторы едва прираздернуты, и никакого отголоска изнутри от живой души.

Хозяйским взглядом озирает Янин избу и чего-то медлил, не решаясь отпахнуть калитку, осыпанную малахитовой сыпью лишайника. Он даже решил, что все снялись не вем куда, и в заброшенном житишке нынче хозяйинует лишь доможирка с выводком мышат; но тут где-то далеко-далеко, в чистой половине, брякнула с отماشкою дверь, в кухонном окне мелькнула обнаженная по локоть рука, плеснулась занавеска, раздался пробежистый топоток, счастливо-испуганный детский залиvistый смех прозвенел на мосту, звонко вскричала наивная младеня: «Мама, папка приехал!» Сбежала с крыльца, уткнулась Коле в живот. «Папенька мой, — лопотала дочь, — живой, настоящий, с неба спустился».

Откуда Настюха догадалась, что это её батяня сиротски подпирает штaketник, колуяая ногтем на тесинках изумрудные цветы лишайника?

И всё... Единственный глаз Янина застило слезою, и он совсем ослеп. Упал на колени, словно споткнулся о приступку, больно приложился лбом. Почувствовал, как жена нежно, вкрадчиво, словно бы ничего и не случилось, гладит по спутанным волосам, ерошит бородёнку, ошупкою узнавая полузабытое обличье мужа.

— Папка, это правда, что ты с неба вернулся? Тётя Зина сказала, что ты у Бога гостил!

Настенька кружила вокруг отца, то притяпывала его по плечам, то, ухватившись за локоть, пыхла, пыталась поставить на ноги.

— Ну хватит тебе, доча, тормошить. Уймись, дай отцу прийти в себя. И ты, Коленька, будет убиваться. Мы тебя со дня на день поджидали... Зиночка сказала, что едешь. Ей кто-то весть якобы нашептал... Вот мы и ждём, у нас и студень наварен, пироги со шукой напечены, батя самогонки нагнал. Пировать будем. Подымайся давай, сердешный мой, богоданный мужёнок, — тёплым голосом увещевала Дарья.

Какой-то кудреватый хмельной дым слоился волнами в голове, слёзная горьковатая запруда подпирала горло — не продохнуть, но, боже мой, таким сладким праздником наполнилось сердце, и женщине казалось, что такого счастья она ещё в жизни не знавала. Даша потянула мужа за локоть, и Янин, кряхтя, встал, как дряхлый старик, и, опираясь на хрупкое плечико дочери, поднялся на крыльцо, вошел на мост, усталый тканями половиками, схватывая глазом привычный быт и невольно примечая, нет ли каких-то посторонних примет. Ну а как же, братцы мои, человек, почитай, пять лет не был в семье, шлялся черт-те где, и злые бесы-навадники могли играючи устрять такую забаву, от которой стремглав зайцем поскочишь обратно с крыльца, уже навсегда забыв и бабу свою, и прежнее житьё. Вот вступит сейчас в избу, а там, по-хозяйски облокотясь на стол, за стаканом «первачка» сидит неведомый мужичина в его, Янина, бараньей поддевке, цветных шерстяных головках, вязанных женою, и в его валяных калишках.

— Побродил — и будет, — ворковала жена, прижимаясь к спине высокой грудью, казалось, прожигающей Янина сквозь посконный пиджачишко, примеренный в столичной церквушке, где были свалены вороха добровольной народной подачи.

Даша вела себя так, словно Янин не отлучался, а если и отъехал — то на пару дней, не больше, и она не успела остыть и стосковаться: ни гнева, ни истерики, ни близкой бабьей слезы, ни страха от неминуемой разлуки, дескать, для того и явился, чтобы распрощаться навсегда; ведь где-то шлялся благоверный, мял чужие постели — ну, дивное дело, братцы мои, сама себя не узнавала эта милая уважливая простота. Даша дивилась внутреннему спокойствию, исполненная благодарности Господу, что Коленька прибыл, не пустил семью враспыл, а значит, им долго жить отныне в союзе и любви и скончаться в один день.

А как бы здорово получилось, если бы помирволил Господь, услышал её такие простенькие мечтания, вовсе не обременительные для Сладенького, коему так и не довелось испытать семейного счастья, — думала Дарья, споро собирая на стол, взглядывая то на образ Спасителя на тягле в переднем углу, то на мужа, на его поблеклое, странно изменившееся лицо. Она ещё не могла вполне понять эту перемену, а может, и не хотела замечать мертвого стеклянного глаза, не впускающего вглубь себя, на дон-

це которого и кончается духовный сосудец, идущий от самой души.

— Папа, где ты там? — позвала Даша отца.

Пиросмани тут же появился из своей молельни, будто только и дожидался приглашения, сухой, пригорбленный, протянул зятю клешнятую тяжелую ладонь, ничуть не удивясь гостю, словно бы Янин только с утра вышел за порог.

— Как дорога, зятёк? — спросил шелестящим елеинным голосом. У тестя было желтоватое, без морщин, постыное лицо, борода длинным седым хвостом — облик настоящего келейника-начетчика старообрядческого согласия. Но глаза жгучие, пытливые. Видно, что тесть готов был допрашивать, но пока сдерживал себя.

— Не пеши топать. Поезд везёт...

— Ну да... Не на пердячем паре. Мать! — вскричал Пиросмани, возгораясь. — Погляди... Там где-то оставалось в запечке. — Даша принесла бутылку вина домашней выгонки: — Привальное надо справить... Гость в доме — Бог в доме...

Пиросмани наполнил стакашки, свою посудинку прислонил ко лбу, сквозь гранёное стекло упершись взглядом в непутнего свояка, пытаясь подавить невольное зло на него. Скитался где-то, гулёна, и вот явился, на тебе. Исчез, не сказавшись, и появился, не повинившись, будто так и надо... Эхма, пустые люди, хлебный сор и мякина на ветродуе.

— Так что, пить-то будем, зятёк, иль как? — неожиданно жалобным, сдавленным голосом позвал Пиросмани, жалея такую несчастливую дочь свою, которую, видно, придётся выхаживать до последних дней своих.

Коля не отвечал, будто в забытии, покачивал на острой коленке Настеньку, уткнувшись носом в её душистую маковицу, в шелковистые тонкие волосёнки. Изнутри порою приступал к горлу надсадный всхлип, и Янин с трудом перемогал его, сглатывая прогорклый ком; много печали скопилось в груди, надо было её выплакать, выжечь, выплеснуть, чтобы дышалось легче, чтобы в голове не вскипали кровяные пузыри, пробивая руслице по-за ухом. Даже казалось, что, словно гусенка-плодожорка, ползет по шее сукровица. По привычке мазнул по загривку ладонью: да нет, шкура сухая, только кажется от нервов и старых переживаний, которые незабытны.

— Ты бы выпил, Коленька, снял тягость с сердца, — приступала жена; не могла поверить, горящая, что вино Колиной душе претит... А ведь как было бы ладно, если бы муж действительно завязал с этой мучительной «присухой».

— Не пью я, Даша... Так вышло. Ну что ты в самом деле, — отнекивался Янин, отодвигая стопку подальше от себя.

— Дивное дело... Ну как это не пьёшь? Больной, что ли, паря? Много-то нельзя, а немного — нужно. Ты

откажись от этой затеи, чтобы вино не принимать. Боком выйдет. Иль сглазил кто? — приставал тесть.

— Да отступись ты всамделе от мужика. Человек с дороги, а ты... Хуже репья, — обрывала Даша отца и как-то ненароком, урывками, гладила мужа по ладони, жамкала пальцы, пытаясь оживить, вдунуть свой телесный жар.

Иван Иванович меж тем время не терял, прикладываясь к стопке, скоро запунцовел обглоданными, как скотская кость, желтоватыми щеками, шумно хлебал, «фуркая», бараньи щи.

— Знашь ли ты, Коля... Снова пришлось скотинку завести, — жаловался Пиросмани, отпивая из стопки помаленьку. — Деньги вот опять пали, покатились с горы. При Сталине такого не позволяли себе, чтобы над народом смеяться... И круто посыпались, скажу тебе, денёжки, на скорости. Будто бы в Америку лишние рубли отвезли, хорьки, и вот в стране снова случилась нехватка. Заболели денежной болезнью, значит, эпидемия, по-научному если — влетели в криз, впали в ступор, ни вздохнуть ни охнуть, что съели, то и вон. Может, в себя придём, а может, лапти откинем. А ты-то как считаешь?

— Никак не считаю.

Янин уныло уставился в приоткрытое окно, в живую от сквозняка занавеску, которая полоскалась на шнуре туда-сюда и никак не могла отлететь на волю.

Первые счастливые минуты, крепко замутив сердце, скоро источились, и теперь надо было привыкать к избе, устраиваться в гнезде, притираться к чужим углам, но что-то внутри вдруг воспротивилось. Ни-колай даже пожалел на миг, что сорвался с Москвы и теперь надо делить себя на части, рубить на полти поживому: одной — сердце, другой — душу, третьему — руки-ноги. А себе-то что остаётся? «Голова профессора Доуэля», которая будет существовать сама по себе, кружиться на сухом стоянце вслед за солнцем?

— Эх, какую страну профукали, прос...и. С такими людьми разве что путнее сообразишь? — Пиросмани огорченно хлопнул себя по ляжке, вытер ладонь о полосатую порточину. — Вот и жрите теперь комбикорм да жмых... Стряпайте мякину. Как в войну. Я-то всё пережил, бат не с ваше досталось. Помню, как тесто-то наставишь из мха да сосновых свечек, из молодого корья да лебеды, да высевок подмешаешь, да картофельных очистков, так слепить-то колоба без муки никак не можешь, в руках тесто не держится. А как из печи-то вынешь, черней земли, зверь жрать не будет. А мы ели; вот какая тогда жизнь была, — в который уже раз ударился Иван Иванович в воспоминания о далёкой юности.

— Папа, ну будет тебе. Ты жил, а мы, по-твоему, не жили? — окоротила отца дочь. — Надоел уже... Талдычишь одно и то же, как заезженная пластинка.

— Нет, так не жили... Вы баловные, пустоголовые и трясоголовые, в Бога не верите, мать-землю не

читите, вот и проспали страну. — Пиросмани вдруг оборвал плач по Союзу, накренившись над столом, приблизился к лицу Янина, неожиданно спросил: — Стекляшку всадили?

— Ты о чём?...

— Смотрю, кабыть кривой, а не пойму что...

— Папа, чего такое мелешь?! Совсем пустое мелешь, — вскрикнула Дарья. — Какой кривой?.. Сам ты кривой да беззубый. Когда ешь, рот-то широко не разевай, да крошки с бороды отряхай... Я за глазки Колю полюбила, а ты... — Даша привалилась к мужу, приобняла за плечи, уставилась в переносье, под разлет рыжеватых бровей. — Колень-ка-а мой, Колень-ка-а явился... Ну и кривой маля, так не с лица воду пить, верно, Коля?.. Вроде стекляшка всажена, а глазик как живой. Вот наострились нынче делать, скоро и голову будут чужую пришивать, нужды — нет. Больно было? — спросила участливо и бережно поцеловала в левый глаз.

— Баба вылечит... Царь, ты, главное, зубы храни. Всё здоровье от зубов. Надолго к нам? Насовсем иль проездом? Надо бы под замок тебя да на цепь, на племя чтоб... А ты, девушка, не зевай, пока сроки-ти не вышли, и спуску ему боле не давай. Расповадится гулять на стороне, после и гвоздями к лавке не пришьёшь. Слышь — нет?

Янин не отвечал, сидел, как малахольный, всё плотнее прижимая к груди невесомое, горячее тельце дочери, не веря своему счастью, словно хотел растворить Настеньку в себе, чтобы удобнее было вознестись, а она и не противилась.

— Кто бы мою жизнь описал... Никакой книги не хватит, — заливался соловьём Пиросмани. — Восемь смертей ко мне приходили, три раза отливали да два раз откачивали, пять литров крови меняли, руку пришивали, в ноге три килограмма железа, в голове титановая заплата пять на десять. Ой, кто бы знал. Угодил в лесу под дерево. На, пощупай. — Пиросмани набычил голову, подставляя темя, схватил Колю за палец, потянул к волосам. — Вот и вот, потрогай... Дашка не даст соврать. Из такого материала нынче подлодки шьют. Мне врачи и купаться запретили. Сразу, мол, на дно.

Может, и шутил тестюшко под винными парами, но Янин выдернул руку и в седых волосах хозяина шариться не стал, лишь ухмыльнулся недоверчиво, не отпуская от груди присмирившей Настеньки.

— Домой пора, — очнувшись, твёрдо сказал Янин, вскинул дочурку на загорбок и, не оборачиваясь, верно зная, что жена покорно последует за ним, вышел из кухни...

— Если вдруг пропадёт озеро, куда денется Дух Воды? — задумчиво спросил Янин у самого себя, остановившись на мосту через виску, туго обтянутую от берегов осотою, камышом, резун-травой и отцветающим лопушатником. Донная поросль разгулялась широко, нагло захватывая чистую воду.

— А куда оно может деться? — изумилась Даша. — И чего ему пропадать? Это моя родина, я на его берегу родилась, это мой дом, Дух Воды обручил с тобою и вошел в нашу девочку.

— А я знаю... В небо! — выкрикнула Настя. — Там птички плавают, там просторно, там много солнца и можно играть... А тут лес, болота, кикиморы и лягушки, да ещё баннушко с доможиркой шекочут ночью пятки.

— Тебя не спросили... Больно много знаешь. Доча, сойди у папы с рук и не балуй, — нахмурилась мать, вдруг превратившись в ребёнка и обидевшись на дочь, что она вот так легко расправилась с родной землею, вольно унизила, обкорнала её со всех углов. — Ты уже девочка большая. Не надо виснуть, папе тяжело.

— Мама, я боюсь, он опять улетит... Папа, ты останешься с нами? Можно, я потрогаю твои крылышки.

— Пропали мои крылья, Настенька. Перья повыдергали, пух отеребили. Я теперь домашний петух, и место мне в курятнике на нашесте.

— Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка, — зашебетала Настенька и, подпрыгивая на каждый шаг, поспешила к дачам. Её золотистая кудрявая головёнка скоро попала за кустами прибрежного ивняка.

Дарье идти в посёлок расхотелось. Избёнка мужа не стала ей родной, в ней так и не поселился жилой дух, тем более нынче, когда всё внутри заилилось и прокисло от угрюмого сиротства, даже мышинное племя, не найдя хлебной крохи и плесневелого сухарика, под водительством домового утянулось в соседние богатые дачи, где постоянно припахивало съестным и прибытком. И от мужа она чувствовала наплывающую глухую чуженину, теплом не натягивало, радостью от встречи. Было, пал у крыльца на колени, глухо взрыдал, но слёзы скоро высохли и вот снова отдалился. Приехал и даже не обнял...

— Ты насовсем иль проездом? — робко спросила, повторяя отцовы слова, с тревожным испугом ожидая ответ.

— Не торопи, дорогая моя... Какой я дурак, Даша. Ну, прости дурака. Собирался в монастырь, убежал... Как в сказке: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от себя, дурака, никуда не уйти.

— Прекрати, Коля... Всё будет хорошо, обещаю тебе. Давай искупнёмся... А вечером банька. Коля, ты ведь совсем забыл меня. Может, у тебя кто-то есть? Так ты скажи. Я пойму. Ну как мужику без бабы, — с трудом перемогая внутренний трепет, накатывающий волнами по телесным прожилинам от лядвий, а может, и от самой матери-сырой земли, невыносимо желая утробной близости и отчего-то пугаясь любовной блазни, шептала Дарья, гладила Колю по спине, вкрадчиво играя, неожиданно для себя посунула пальцы в отворот рубашки к худенькому телу, к отто-

пыренным, совсем безмясым острым крыльцам. Как бы пошутил отец: осталась от зятя одна шкура да вата. Хотелось Дарье быть сильной, так и настраивала себя с минуты встречи, струнила, чтобы ничем не выказать слабину, не поддаться бабьим нервам, не зареветь, не раскаться в упреках, не травить слезами эти золотые минуты, которые будут помниться до скончания дней. — Царь... Мой ца-арь! — потерлась щекою о затерханный шершавый пиджачишко, будто обросший жестким конным волосом. — А я ведь, Коля, живая! — всё-таки не удержалась, упрекнула — Я твоя верная жена до гробовой доски. Ты слышишь меня, Коля? — подняла голос, резко подёрнула, повернула лицом к себе. — Чего ты молчишь, как немтыря? Противная, да? Та, другая, лучше? Ты слышишь меня?

— Ну слышу, слышу... О чём это ты? — Янин вздрогнул, как бы вынырнул из небытия, качнулся к жене навстречу. — Да, был когда-то Царь, да весь вышел. Одна шкура... А может, и не было... Придумали когда-то на потеху. И вот промчалась жизнь, как сон. Взлетел, вернулся на землю — и не очнулся... Даша, милая, ты сочинила меня! Ты умная, красивая, милосердная женщина.

— Смеёшься, да?

— Нет-нет, — заторопился Янин. — Я не смеюсь... Ты — сама благодать, Божий подарок доброму человеку. А я? Кто я? Точильный камень на твою шею. Со мною оба пойдём на дно. Совсем пустое, дурное семя, меня и земля не держит. Вот ветер и носит по свету, как полову и дорожную пыль!

Янин вдруг услышал себя как бы со стороны, споткнулся о собственный скрипучий мертвый голос и замолчал, понимая, что говорит совершенно не то, чем переполнено его уставшее сердце, побывавшее у врат рая. Холодный выпренный язык литератора с театральных подмостков, вдруг пойманный Яниным, невольно заслонял простоту душевных признаний, которые почему-то застряли в груди, не могли прорваться.

Разговор поворачивал в дурную сторону, грозил упреками и ссорой. А Коля не собирался обижать супругицу, ведь он собирался распечатать своё сердце жене красивыми нежными словами, которые придумывал в вагоне всю ночь, гоня от себя сон, а они, коварные, куда-то сбежали. «Какая мерзкая у меня натура, — казнил себя Николай, — отчего на язык лезет всякая скверна и чушь, далёкая от истинных сердечных слов, полных искреннего раскаяния и нежности. Нет бы воскликнуть: Даша, я люблю тебя! — прижать к груди, и всё, никаких ведь других признаний и не надо». Станный он человек, не может исцелиться сам, и Господь не сулит помощи, наверное, видит бесполезность усилий...

— Пойдём давай, мучитель мой.

Даша решительно подхватила Янина под локоть, повела к урезу воды; рыба мелочь, блеснув серебром,

приснула врассыпную, в камышах плеснулась шука-травянка, донная шелковистая травичка колыхнулась на песчаном дне, расстилая змеистые черные тени; чуть дальше от берега, за берёзовой закаменевшей выскетью, так и не истлевшей со временем, начиналась омутная глубина, где шла другая, зазеркальная жизнь русальниц и коварных навадников из подземного царства. Даша не знала, что когда-то, в минуты отчаяния, Янин пытался проникнуть в чужие миры, даже завёл любовные шашни с хвостатой подводной девкой, да решимости не хватило обручиться с нею.

Настенька возилась невдалеке, копала нору, совала в неё ножонку и деловито обтяпывала влажным песком — любимая детская затея строить избушку. Янина позывало к дочери, повозиться с нею, о чём-то поговорить на детском языке. «Только Настенька могла бы привязать к земле, — наивно думал Янин, почасту оглядываясь на ребёнка, словно бы он мог вдруг исчезнуть. — Как бы хорошо нам было вдвоём». Но он догадывался, что желание невыполнимо, ибо и для дочери он скоро станет обузой. Янин сам для себя выковал невидимую тюремную камеру-одиночку.

Побарывая отчуждение, Николай неловко, стеснительно приобнял жену, словно бы не мог забыть, что Дарья когда-то принадлежала другому человеку, его другу. Сейчас обиженный Рахманин таится в густой путанице прибрежного ивняка и, ухмыляясь, следит за ними, а может, и наставил ружьецо.

— Ой, кто бы знал, как я соскучилась по тебе, — протянула Даша, плотно прильнула к мужу, разглядывая его серое голое лицо, к которому надо было привыкать. — А борода, Коля, тебя личила. Зря снял...

— Борода — дело наживное. Как вы тут без меня? Туго пришлось?

— Наконец-то вспомнил... Да слава богу, Коля, всё хорошо, ты не переживай. Перебиваемся с хлеба на квас, но комбикорма и жмых, как другие, пока не едим. Отец ковыряет птиц, я шью кукол, возим в город на продажу. Нас там знают... Хорошо берут.

— Ты прости меня, Даша. Плохой я человек, ничего доброго ко мне не пристаёт. Литературу забросил, зря жизнь прожигаю. — Лицо у Янина подозрительно перекошилось, он неловко сковырнул ногтем соринку, угодившую в глаз. — И вас вот обездолил. Чего-то нашло, сам не пойму. И побёг... Наверное, больной я. Ну да, конечно, больной. А сейчас и вовсе сошел с катушек. На Белую Гору пора. — Николай запнулся, не стал далее ворошить пережитое.

— Какая Белая Гора? Ты что, не мели ерунды...

— И ничего в том плохого, Даша. Нынче все иль на Белой Горе, иль под нею.

— Ты не волнуйся, Коля. Я знаю, тебе плохо пришлось. Отдохни, приди в себя. Мне от тебя ничего не надо, дорогой, только будь рядом. Люби меня, и больше ничего...

Неожиданным признанием Даша обезоружила Янина, обезволила, лишила упрямства. Он опустил-ся на травичку, выбрав место посуше, скинул ботинки, забрёл в озеро, загребая пальцами мучнистый серый ил и пряди склизких шелковистых водорослей. Вода оказалась тёплой, домашней, как в деревенской баенке. Посередке озера крутился вьюн, затягивая в себя и небо, и солнце, и лимонные перья заката, словно бы на дне пила содержимое вместе с живыми тварями бездонная воронка, уходящая к сердцу земли. Невдали хлопнуло, ухнуло, взметнулось раздвоенный чешуйчатый хвост, с оттяжкой ударил по воде, вспыхнул в небо ворох алмазных брызг. Может, помстилось? Да нет.. Волна накатом пошла к берегу, загнула камыши и ударила Янину под колени. Николай едва не упал, испуганно оглянувшись, жена, блаженно улыбаясь, смотрела в никуда, медленно стягивала с плеч кофту.

— Ты ничего не видела?

— А чего?

— Да так, показалось...

Даша подоткнула юбку, зашла в воду, низко наклонясь, плеснула августовской воды за вырез сорочки и раз, и другой, охнула, взвизгнула, засмеялась, подпихнула бедром мужа, позывая на игру, а Янин стоял неотзывисто, истуканом, даже не взглянул на белоснежные, без проточины, груди, грузно вываливающиеся из ворота рубахи, тоскующие по новому молоку, прободающие сосцами сквозь тонкое полотно; снова отшатнулся куда-то в свой недоступный мир, где не находилось места жене.

«Хоть бы Ты-то, Господи, образумил растерянное русское племя, подпавшее под чужебеса и кобыльника, — взмолилась женщина, — а то скитаются мужики с лукошком по чужим палестинам, отрясают семя в пустые неродящие нивы иль куда приведётся по случаю, а ты, баба, хоть волком вой в закатное небо, дожидаясь оттуда Святаго Духа, чтобы заполнило чрево».

— А сто лет назад озера-то ведь не было. И стояла, по преданию, в этом месте церковь Рождества Богородицы, — вдруг сказал Янин, не обращая внимания на уловки жены. Случайная мысль не отпускала его.

— Как это не было?

— А вот так, подруга... Вдруг восшумело ночью на всю округу, провалилась земля, и возникло озеро, как в сказке. Так рождаются мифы и открываются физические законы... А у деревни Болванихи за пятнадцать вёрст в ту же ночь озеро пропало. Так и жизнь моя. Всё было: дом, жена, дочь, работа, деньги, друзья, родина. Явились чужие коварные люди и украли у меня средь бела дня нажитое, и стали меня же винить: дескать, не надо варежку разевать, начинай всё сначала, несут ахию про какую-то халяву, на которую будто бы привык перебиваться русский человек, про его тупость и глупость, про леность и мерзость, про рыбака и удочку. Нагородили семь

вёрст до небес, чтобы мы запутались вконец, перепутали Москву с Парижем, Синай с Афоном, а Мёртвое озеро Израиля с живой водой Байкала. А если я не рыбак, то мне что — по-ды-хоть? Забрал бы их дьявол да отволок в преисподнюю, где им самое место. Сво-ло-чи... Отняли равновесие жизни и спокой, главные условия русского бытия, и заменили ссудным процентом, грыжей и пивным животом. Всё взбаламутили, чтобы стукачи и слухачи, прожоры и мухоморы ловили в мутной воде нахрапом, кагалом, без всякой удочки, оттеснив лишних и любопытных, запустив мохнатые руки. И некому наступить, отдавить эти самые жадные руки, ибо православная душа сразу начинает стонать и маяться: да как это можно, возлюби ближнего, возьми грех его и крест его на свои плечи и влекись знойной пустыней без еды и питья неизвестно куда, а рядом на тарантасе иль в пролётке, запивая устрицу французским винцом, едет вальяжно наш прощелыга и мошенник с хлыстом в руке. Эту гниду давить бы надо, а мы темшимся жалостью к себе, спрятали голову в песок, как «семендыры», затаились и ждём момента, который может не наступить никогда... А способен ли я, Даша, начать всё сначала? И как положиться на меня, чтобы ни тебе, ни дочке не пропасть?

— А что всё-то, что-о, Коля? Когда я ушла из Строгановки со второго курса и вернулась в деревню, думала — привет, конец жизни, закопала себя в колхозе и навозе. А оказалось, что жизнь только начинается, у неё нет ни начал, ни концов, мы её начинаем сызнова каждое утро, пока не устанем... Помню, первое утро, как приехала из Москвы: совсем убитая, раздавленная, думаю, дура ты дура, ну зачем сбегала из столицы, ведь всё так ладно устроилось, кругом столько талантливых людей, и все тебе добра хотят, нянчатся с тобою. А в деревне — дно, трясина, комары да мухи от тоски дохнут, день да ночь — сутки прочь. Но ведь что-то позвало сюда, встряхнуло всю, и помчалась на родину, казалось тогда, что и часа не прожить. Ну и сорвалась с места. В голове одно стучит: скорей-скорей, как полоумная стала. Ты не можешь себе представить, какой приговор тогда подписала себе, побегав из Москвы, ведь жизнь искурочила и растрепала в лоскуты. Мне же в школе все подруги завидовали: художницей будешь.

— Но почему?

— Потому что лишняя оказалась, гордыня заела, одиночество. А это чувство знаешь, как гнетёт? Вот порою замерзаешь на ветру, и хватает одного участливого прикосновения, чтобы всё оттаяло внутри и заиграло. Сейчас-то я понимаю, что я спала тогда и Господь не хотел меня пробуждать, ждал, когда сама очнусь.

...Ну ладно, проснулась, подбежала к окну, раздёрнула занавески, а в глаза солнце слепит, и озёрная гладь словно покрыта рыбьим клёцком, искрится вся, бабочка-крапивница трепещет на стекле, просится в

избу, — и так славно стало, вдруг необыкновенная детская радость сошла на сердце от родных картин, которые стали забываться. Ведь думалось, что отряхнула родину навсегда, как дорожную пыль с подошв.

Даша вспыхнула, залучилась глазами, лунки на щеках наполнились алым заревом смущения и восторга, на голые руки высыпало пашенцо внезапного озноба.

— А ты, Коля, говоришь: всё, кранты! — когда только жить начинаешь. Зачем подписывать себе приговор? Судишь, топчешь сам себя пудовыми сапогами, хулишь, как великий грешник; иль в монастырях слов таких понахватался? Ну и ступай себе по Руси, отец тебе стяпает в кузне вериги иль сыщет в амбаре, что сохранились от староверцев: взденешь на грудь — и ступай. Пой духовные стихиры, отец научит, собирай в суму милостыньку, увещевай пропавших, вопи о кончине мира, делай народу пересортицу, кому куда попадать по смерти, грози бестрепетно великим судом и геенной огненной, если не опомнятся. Но ты-то, Коля, другой, мне ли тебя не знать; ты сильный, в тебе страсти кипят великие, в тебе огонь неугасимый, я чувствую, как ты пылаешь на том костре, и не залить тебя водою спокойя и тишины, хотя бы всё озеро источили на твою голову по капле... Есть и такие египетские казни, — нахваливала Даша и вдруг очнулась от увещеваний, звонко залилась. — Эк меня увлекло, в какие словесные павны потянуло. Тащи меня, Коля, за вихор, как бы самой не захраснуть в болотине да не захлебнуться.

— Потянул бы, да боюсь, голова оторвётся.

Янин невольно залюбовался супругою, как бы вновь увидел её, плотно сбитую, с покатыми плечами, с крутыми лядвиями и просторной грудью, которой можно даже принакрыться в постели от стужи, если приступит нужда...

— Да ты посмотри, какая я богатырша, — прошептала Даша, поймав загоревшийся взгляд мужа, и, оглянувшись, закричала на берег: — Доча, милая, беги к тётке Зине, пусть наставляет самовар и готовит привальное. Скажи, Царь прибыл. Беги, беги, моя хорошая... Так и скажи, Царь приехал.

Даша присела, почерпнула на себя водицы, плеснула пригоршню мужу в лицо; внезапно поднырнув под него, окружила, опутала ноги, подхватила за щиколотки, легко подёрнула к себе. Янин вдруг рухнул, камнем пошел ко дну, безвольно заскользил по крутому глиняному свалу в омут, под берёзовую выскет, к хозяину озерных насельщиков, к налимам, лещам и язам в гости. Вот тебе и чара смертного вина, вот тебе и горькое привальное для гостя: пей да радуйся вольной стихии.

Пиджак, намокнув, связал руки, напoлз на рот, и Янин, безуспешно цапая ногтями вязкий склон, никак не мог удержаться, безнадежно сползал в недоступную студёную глубину, откуда едва просвечивал

золотыми куполами древний храм ещё ордынских времён, когда-то стоявший, по преданию, на этом берегу и ушедший в провалище, доносился размеренный колокольный бой «бом-бом-бом» и сладкое пение псалмов; поклонники в белых одеждах шли непрерывной чередой друг за другом и, как бы свиваясь в кольца, прощально исчезали у западных ворот церкви, вслед за солнцем, в чёрное кружало водоворота...

Ещё увидел Янин, прощаясь с белым светом, как мимо лица скользнула русальница в серебряной ковчужке из мелкой звенящей чешуи и в черном шлеме с длинным наверху, больно оцарапала лоб жестким рыбьим клёцком и, подёрнув за волосью, повлекла в гудящую бездну.

... — Коля, Коля, вставай! Чего разлегся, как барин! Хватит тебе лежать, милый, чего удумал-то, не помирать ли собрался? Живой — нет, экий ты дурачок! — причитывала Даша, хлестала благоверного по щекам, сдвигала рёбра из последних сил, будто выминала тесто, добиралась ладонями до поникшего в обмороке сердца, пытаюсь расшевелить его к жизни. Прильнула губами к жесткому посиневшему рту и принялась качать тёплого воздуха из своей груди.

Когда уже отчаялась Даша в своих надеждах, Янин длинно вздохнул, напряжился телом, судорожно вырыгнул из себя озерную воду. Долго приходил в себя, блуждал взглядом, не зная пока, за что зацепиться, чтобы освоиться.

Завечерело. Лёгкий прозрачный туман выстлался кисейными пологими по дальним углам озера. Резко похолодало от земли. Янин с трудом вернулся в ум, его стала бить дрожь. Если возвращаться в деревню, муж заколает совсем. И дочку надо забрать от сестры, ещё забредёт в лес по дурости. Даша стянула с Николая осклизлый пиджачишко, выкрутила воду, содрала рубаху и майку, натянула на мужика свою кофту.

— Идти-то хоть сможешь? — Дарья потянула Янина за рукав.

— Да могу, могу... Отцепись худая жизнь, привяжись хорошая, — огрызнулся Янин. — Ты-то как? Задрогнешь ведь.

— На меня не смотри... Привыкшая... Я до льда купаюсь. К Алмазовым, Коля, скорей надо, а уж после в свой дом... Там столько уборки, обрядни. И неудобно вроде бы в таком виде по гостям, а что делать? — бормотала Даша, мелко трюся возле мужа в одной исподнице, обтянувшей тело, хлюпая раздавшейся после родов грудью, невольно подергивая Колю за рукав кофтенки, понуждая частить шаг. — У Зиночки обсушимся, обогреемся, заодно привальное справим... Она тебя живо на ноги поставит... Ты прости меня, Колюня, дурку набитую... Знать, и у меня что-то стронулось в голове. Нисколько ума во мне не осталось. Поиграть, видишь ли, захотелось, глупой колотовке, зажгло в одном месте. Нашла тоже место, чуть мужика своего не угробила. А долго ли

до греха? Но кто знал, что ты такой лядащий и ни-кошной? Только пальцем и задела. Иль утонуть заду-мал? Признайся. А там воды-то, милый мой, по гор-лышко не будет, захлебнуться негде... Скоро посуху будем озеро перебродить. Эх, Коля, Коля, берёзовая чурочка с глазами, — приговаривала Дарья на каж-дый шаг. — Богоданный ты мой...

А Зина, как чуяла беду, уже спешила навстречу. И Настенька с нею, трясогузка всполошливая, успе-ла все сплетенки тётке растрясти, у неё рот на залож-ку не закрывается.

— А наш-то папка у Царя Небесного в гостях был, — вопила она на весь дачный посёлок, и её крик, перелетая через болотце, ударяясь в ельники-березники, возвращался обратно, дробился по заул-кам, плутал меж высоких заборов уже какой-то не-разборчивой языческой скороговоркой-потешкой. Подбежала к отцу, уткнулась в живот, изумилась: — Ты что, прямо в одежде купался? Ну ты, папка, да-ёшь...

— Царь водяной пригласил чаю-кофию пить, доченька. Оставлял насовсем, а куда я без вас? Вот и дал дёру.

— Ты, папка, герой, всем царям первый царь, та-кой смелой да удалой. Не с тобою водяникам вое-вать. Мама говорила, что у них противу тебя кишка тонка, они только малых деток живьём глотают. Ко-гда купаешься, надо верёвочку к ноге привязывать. Если что, за ту верёвочку дёрг... Правда, мама?

Настенька семенила рядом, по-птичьи щебетала, и её заливиный голосишко, этот переменчивый всхлипывающий говорок чудным образом снимал надсаду с сердца и выправлял запаянные хворью го-ловные протоки.

...Боже мой, Коля-Николай, дивись и радуйся де-вочке своей, что летит возле, изумляясь, не замечая дороги, и не снимает с тебя изумленного взгляда, этой хрупкой певучей тростиночке, цветочку лазо-ревому, ключке подпиральной, твоему духовному живительному напитку, которым вовек не напиться, что ниспослал Царь Небесный тебе в душевное успо-коение, чтобы ты помирился наконец-то с самим со-бою и нашел укрепу, усладу и силы для жизни.

— Будет тебе, Настя, уймись, — приговаривала Дарья, искоса присматривая за мужем, жамкала его ладонь, грела в горсти. — Что ты сказки-то сочиня-ешь. Наверное, учительшей будет.

— Писателем... сочинителем, как отец... — по-правила Зиночка, а сама пронзительно так, изучаю-ще взглядывала на Янина, будто проверяла рентге-ном его телесный состав.

Открыла калитку особым ключом, поклонилась, сложив на груди руки крестом.

— Пожалуйте в дом, дорогой Николай Алексан-дрович... С прибытием вас в родные палестины. Да-

ша, ступайте скорее в баню, переоденьтесь в сухое, а я пока на стол направлю... Горя, ты где там запропа-стился? Встречай гостей! — закричала сдавленным голосом, задрав голову на надвратную часовенку.

Наверху приоткрылось оконце с опушкой из цветной слюды, молча выкурнула бритая круглая го-лова, словно кукушка из часов, — и беззвучно скры-лась. Появился Горыня, в брезентовом рокане, рези-новых сапогах, за лосиный пояс заткнуты рабочие рукавицы-верхонки, лицо одутловатое, землистое, густая щетина по скулям, слабо напоминающая бо-роду. Грузностью тела и угрюмостью взгляда Алмазов нынче напоминал Собакевича, и ничего в нём не осталось от прежнего человека-«бузы», расхристан-ного, размашистого, по-детски наивного и растре-панного, словно перезревший капустный кочан, ка-ким Коля знал своего старинного приятеля: про-сторная блуза, заляпанная по подолу красками, баш-маки без шнурков, чтобы ловчее было надевать, ку-деля редко вычесываемых волос и борода по грудь растрепанным рыжеватым веником.

Бывшие друзья нарочито не узнавали друг друга, тяжело двигались навстречу, нехотя изгоняя из серд-ца прошлую обиду, такую пустячную по нынешним тяжким временам, что и вовсе не стоило бы её те-шить в груди.

— Ну, здравствуй, Царь...

— Здорово, Горыня... коли не шутишь.

— Ладно, беги в баню... После поговорим. Дело к тебе есть...

После парилки Коля посвежел, разохотился к жизни. Даша веничком постегала, потёрла спинку и мосолики — тут и мёртвый встанет, когда кровь ра-зогрелась.

Потом ели жиденький супчик грибной, постя-ной, пили чай на травах.

— Извините, так привелось. Мы вас не ждали... Грибы у нас свои, и хлебушек свой, на отрубях, — приговаривала Зиночка, вопросительно взглядывая на мужа. — Стол бедный... А кто нынче хорошо жи-вёт? — плакалась хозяйка. — И вина не держим. Ты-то, Коля, как с вином?

— Не пьёт он, совсем не пьёт! — отчего-то вспых-нула Даша, кинулась на защиту благоверного.

— Ну и ладно... Может, и в России всё наладится, как бросят пить. Вся беда от водки: и революции, и войны, и смертоубийства, и разводы, и аборт, и грабёж, и злодейства всякие, и ссоры в семье, пото-му что помутнение ума насылают бесы... Правда, Го-ря? Мы-то всё пережили, от крайнего падения до восстания духа, знать, так было Господу угодно, что-бы мы скатились на самое дно, а после вылезли из пропасти под солнце, ломая ногти.

— Чего скрывать, долго я Зиночку мучил, — от-крылся Алмазов, — вспомнить страшно, как дони-мал её. А она несла свой крест, вытаскивая из ямы.

Она в роддом, а я в дурдом. Ведь так было!.. И то, что мы сейчас имеем, только благодаря мужеству жены. И то, что она появилась рядом в жизни, это не случайно. Я сейчас понимаю, что это Господь послал во спасение в последние минуты моего падения. И всё, что мы имеем нынче — детей, достаток, покой, — только заслуга Зиновки... Это святая женщина.

Зина с особенным пристрастием вглядывалась в Горыню, словно ловила его на двоедушии, на каждое его доброе слово кивала головою, дескать, всё так, всё правда, и невольно от похвал заливалась краскою, прямо молодела на глазах.

— Ну будет тебе, — оборвала жена, — совсем захвалишь. Сглазишь, и тогда на что я буду годна? Я прямо чувствую, как тяжелею, превращаюсь в бронзу и мрамор...

— И ничего не хватит... Я нисколько не боюсь перехвалить. Правдой и любовью не пересолить. Со стороны все видят богатый дом, огромный участок, машины, думают, нам с неба досталось, завидуют до посинения, но никто не знает, какими непосильными трудами досталось благополучие. И даже мне не понять и не осознать. Эти жизненные превращения, коренные перемены в жизни: Европа, Америка, семья Коля и Кеннеди, президенты и королевские фамилии, миллиардеры, еврейские кланы, вокруг крутёж-вертёж, прислуга, приёмы, живописная работа, да за это ещё деньги платят, и огромные деньги, — и у меня, конечно, крыша поехала не столько от пьянки, сколько от неожиданного успеха. И я думал, что этого я сам достиг через свои таланты, но не понимал, что это Господь через Зиновку меня вёл. Подсознательно-то я догадывался, что появилась Зиновка друг в моей жизни совсем не случайно. Когда мастерская сгорела, были уничтожены мои открытия, всё Господь смёл, и вдруг я оказался там, где надо было выживать. Ибо там, где родился, я не пригодился. Бедные монахи мне помогли тогда выжить и вдова Роберта Кеннеди. Открыли мне дверь и сказали: работай, Алмазов, а мы тебе поможем. Америка мне открыла Россию, открыла меня самого. Те люди мне платили деньги за то, что я люблю делать. Я осознал себя русским человеком в Америке. И сейчас Господь подарил мне совершенно новую семью в греческом Преображенском монастыре, там теперь мой дом. Я стремлюсь туда, чтобы услышать эту трехязычную службу, — греческий, русский, английский, — но это древний распев.

— Но как бы не запнуться об их обычаи, Горыня, — перебил Николай. — Запнешься и потеряешь голову, а вместе с нею и сердечное чувство, и русскую веру. Сначала вроде бы будет томиться душа, стонать и плакать, а после незаметно зальдится, как будто так и надо, и ты однажды вдруг засмеёшься над тем, над чем прежде рыдал... Ты не чувствуешь за собой таких перемен? Ведь ты пишешь чужих людей из другого

мира и невольно скользишь по внешности, очерчиваешь контуры, а внутрь-то попасть боишься, да и невозможно, ибо там загады и пропасти непонятных обычаев, которых не перескочить. А тут ещё эти проклятые деньги, которых всегда мало. А время неисследимо утекает, но желания остаются, они оседлали тебя, они танцуют на твоей горбине, не дают и ночью довольно поспать, одна только мысль в голове, как шило: успеть, успеть. Заказчику не потрафил, порвут контракт, сбегут к другому художнику. Возвращался бы ты домой, старичок, пока не заржавел. Сколько в России невыпестой, родной, не тускнеющей красоты, а ты где-то шляешься по гнилым задворкам.

— Сколько тебя знаю, Царь, нудишь ты одно и то же, как заезженная пластинка. Кто ты мне — судья? На себя бы лучше посмотрел... Чего сам-то стоишь? Был прежде Царь, да весь вышел. Не знаю, как тебя нынче и назвать. Нельсон? Кутузов?

— Мальчишки, уймись! — с тревогою вскричала хозяйка. — Горя, не обижай... Что ты, всамделе, затыкаешь рот человеку? В кои-то веки появился у нас.

— И ничего я не затыкаю, — сконфузился Горыня, вдруг поймав себя на том, что не в ту сторону заехал, обидел гостя. — Прости, Коля... Погорячился.

— С кем не бывает, чего там... И ты меня прости, — смиренно повинился Николай, не подымая взгляда. Так, упершись глазом в стол, легче было говорить.

— Ковырнул мою болячку, а она кровит... Ты думаешь, что всё так просто. Не я уехал, а родина выгнала, выкинула за порог, как ненужную тряпку. Та ещё, советская, власть прокатилась по мне катком, расплющила, выдавила дух, лишила надежд... Понял? И что прикажешь делать? Ты, конечно, скажешь, надо было терпеть, постепенно превращаться в падаль, отбросы, в быдло, которыми нынче заполнены улицы, жить без своего лица, своих желаний и стремлений, и замыслов, для чего появился на свет. Это значит самого Христа предать, который на нас надеется, что мы исполним его заветы... Ты бы этого от меня хотел?

— Зря, Горыня, на меня прёшь... Ничего я от тебя не хочу. Ты выбрал свою жизнь по своему нраву. А я маленький пропащий человеченко, никакого от меня проку. Мне некуда отсюда бежать и незачем спешить. А ты вон в какую гору поднялся, весь мир под тобою. Далеко видишь, широко шагаешь. Ну и ветер тебе в спину, Алмазов, только штаны не порви. И никого я не виню, ибо сам кругом виноват. Судьбу и дурной характер не перетопчешь. Самый лучший способ убрать перхоть — это стричься налысо...

Янин едва шевелил губами, казалось, это горюет сама душа внутренним потаённым голосом. Ей, душе, нисколько не стыдно открываться в своей малости, неказистости, простоте, винить себя за несовершенство и напрасно убитое время, которое бесконечно впереди, и некуда ей торопиться. И отсюда

вся разладица в человеке — между скоропортящейся плотью и вечной душой. Плоть ветшает, полнится болячками, волдырями и дурными соками, а душа набухает и взрослеет от пережитых страстей, ей становится тесно в оболочке.

— У каждого своя творческая кухня, и каждый пользуется своим материалом... Ты литератор, пытаешься проникнуть в происхождение добра и зла. А я живописец, портретист, мне важно человека оставить в истории, каким он был. Хороший я художник или плохой, это другое дело. Наверное, мир не переверну. Да, я пишу на заказ, и мне это нравится. Люди ко мне тянутся, ибо я создаю не просто портрет, а идеал, семейную икону, в которой нуждаются люди во всех концах мира. Я участник истории, невольный её творец. И какая мне разница, кого писать? Русского, еврея или эфиопа, сквалыгу или взбалмошного купчишку, сорящего деньгами. Мне нет дела, как они заработаны, сколько крови и пота за ними, сколько разбитых судеб, горя и слёз. Тем несчастным страдальцам, обманутым и обманувшимся, я уже ничем не помогу. Художник — подданный интернационала, нельзя его, Коля, строго судить. Живописец как человек, увы, далёк от идеала и невольно служит тому, кто заплатит. Такая, старичок, селяви... Картина покидает мастерскую, как Летучий голландец, и нет у неё причала, где бы закориться. Если только вдруг повезёт... А в России нынче никто не платит, в ходу модерн, безобразие, творческая импотенция и полное разрушение портрета как жанра. Значит, нет того причала, от которого бы отплыл в вечность Летучий голландец.

— Ну, как сказать... Есть Глазунов, Рыженко, есть Белюкин...

— Они-то есть, я не спорю, найдутся ещё с десяток, но государства-то нет, болеющего искусством, нет денежных людей, понимающих толк в живописи. Ростовщики есть, которые всё измеряют «бабками», а радетелей с отечественным размахом, с приглядом на будущую историю России — их-то и нет. Мог бы я и по-другому выразиться, но зачем? И так всё ясно. И Господь мне указал, как поступить... Вот, к примеру, писал я одного миллиардера и его семью. Он турок-месхетинец с еврейской кровью, выехал из России, сейчас большая шишка в Нью-Йорке. Это человек, у которого зимой снега не выпросишь. Он однажды в большом собрании признался, что сделал лучшую инвестицию в своей жизни — вложил деньги в картину, на которой изображена его семья. Мало того, я ему сделал ещё пять портретов, он оптом приобрёл у меня пятнадцать пейзажей. Когда его друзья узнали, сколько он в это вбухал, они сказали мне: «Георгий Павлович, вы первый человек, который смог забрать у него столько денег...» И кого бы я ни писал, я проверяю работу с теми, кто служил искусству до меня. Они всегда стоят перед глазами, как учителя. Это очень важно:

нравлюсь я им или не нравлюсь. Постоянно думаю: а как бы отнёсся к моим работам уважаемый мною тот же Ренуар... Я никогда не гоню халтуру. И родиной меня не утыкай, понял?

— Ребята, подите погуляйте, — решительно оборвала разговор Зиновья, услышав горячку в голосе мужа. — Горя, покажи Янину усадьбу, чтобы знал. Я пока с сестрой перетолкую... Коля, мы через два дня уезжаем в Америку, а под весну в Грецию, в монастырь.

— Знаешь, старичок, для художника весь мир — родина, Божие создание и творческая мастерская. В общем, нераздельная троица, — продолжил разговор Горыня, когда вышли во двор.

— Но и неслиянная... Есть о чём крепко подумать.

— Это совсем другое, Янин. Ты всегда вперетыку. Надо сказать, ты неисправим, у тебя мерзкий характер, — снова вспылел Горыня.

Видно, его упреки крепко зацепили Янина, раздражили сердце, вцепились в душу, где так прочно сидит это невидимое, непонятное чувство тоски по родине. Беги от неё хоть на край света, а она вдогон и вцепится, как злая собака в штанину, и давай терзать душу середка ночи, и тогда сон бежит прочь, и глаз не сомкнуть, и подушка, будто живая, ворочается под головою, и не знаешь, как дожидаться утра, когда свет перебьёт темь.

Вышли же усадьбу смотреть с её многочисленными, тесно поставленными солидными постройками, все в кирпиче и под железом, и словно бы не двор художника ревизовали, а крепкое поместье зажиточного фермера, где каждый метр земли «упакован» для практического делания прибыли; и гараж под десяток машин, и мастерская, и баня-прачечная, и гостевой дом, и летний сад, и оранжерея, и парники. Насмотрелся хозяин в далеких землях протестантских порядков — и к себе на Русь приволок для науки: де, пусть смотрят и перенимают. Народ русский, конечно, велик, спору нет, но много чего упустил по характеру своему в устройстве жизни на бескрайних северных землях, где трудно справиться с распутихой и нескладихой.

Горыня шел увалисто, широко, по-медвежьему ставя плоскостопые ноги, навряд ли замечая возле себя маленького Николая, по-старчески семенящегоazole, ибо невольно корпусом оттирал его в сторону и всё нудел не умолкая, перетирал навязчивую мысль. Скоро ведь Алмазову к западенцам ехать за океан, и надо прибыть живописцу на зимние работы со спокойной душой, когда чаши весов с грехами и добродетелями, установленные Господом, не будут метаться вверх-вниз, невольно вызывая чувство раскаяния и недовольства жизнью.

Когда миновали двор и углубились в молодой сад, Горыня вдруг сказал с какой-то осердкой в голосе:

— Твой Гоголь в «Портрете» всё напутал. Он писал о художнике взглядом сытого барина, не зная са-

Генеральный**директор***Олег Болдырев***Главный бухгалтер***Людмила Дьячкова***Художественный****редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение****и компьютерная****верстка***Александр Муравенко***Заведующая****распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 2791-2017

Адрес редакции:*Россия,**107078, Москва,**Новая Басманная, д. 19***Телефоны***редакции:**8(499) 261-84-61**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***Факс:***8(499) 261-49-29***E-mail:***www.roman-gazeta-1927.**yandex.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

мой внутренней жизни живописца в его крайней нужде, и потому повесть получилась далёкая от правды, с мистическим окрасом... Художник — это пахарь, а полотно — его пашня. Разве может сатана купить у крестьянина душу, если она — его сущность, неотрывная от плоти, одно целое. Дьявол может купить душу ростовщика (ну, это за обыденку), чиновника, армейского служивого, священника и даже литератора — и тогда тот начинает хвалить своего врага, льстить ему, перекидывается в его враждебный лагерь; может приклонить на свою сторону и композитора — и тот начинает притворно вчинивать противные народу, губительные для его души звуки, далекие от православных стихий, и сделает из него чужебеса. А художник не может продать свою душу, как пишет Гоголь, даже если бы и захотел, ибо его кровь, его пальцы, его сердце, его глаза — всё вместе и составляет душу. Как мужик привязан к своей пашенке, так и живописец прикован к своему дару и вынужден исполнять работу везде, куда бы ни забросила судьба. Художник, как и пахарь, в сущности, подневольный человек: это кукушка, которая раскладывает свои яйца по чужим гнёздам. Это писатель может взбрыкнуть, сочинять что ему вздумается, притворяясь пособником властей, вроде бы приклоняясь к Церкви, нисколько не веря в её Божественную Сущность, учит тому, что совершенно не знает. Литератор — это великий обманщик, слуга дьявола, более страшный, чем лицедей, последний актер ишко столичной сцены. Разве не так? — спросил Горыня, резко поворачиваясь к Николаю, наверное, готовый бить его смертным боем.

Янин невольно отшатнулся, присмирел:

— Ну, тебе виднее...

— Может, я слегка и перебрал, так ты прости, — сквозь зубы просипел Горыня. — Ведь я тоже живой человек, а ты меня нисколько не хочешь понять.

Уже в молчании они миновали рукотворный пруд, обложенный розовым камешником, мраморный грот, из которого стекал тонкой струйкою прозрачный родник, погрузились в туманную волглую тишину, в березники, в кочкарники и осотники, вихлявой торфяной тропинкою закружились вокруг столетних, замшелых по низу деревьев с глубокими черными рубцами.

— Дикая природа... Сама мать-сыра земля, источник вдохновения и моей любви к России, — со слезою в голосе простонал Горыня. — Господи Иисусе Христе, прости меня многогрешного...

— Смотри, подосиновик! — вскричал изумленный Николай.

— Только не рви... Это грибная тропа, и растут вдоль неё живые существа. Я гуляю по ней каждое утро. Они меня знают и приветствуют наклоном головы. Они сами подсказывают, когда приходит срок сбора, тогда они шепчут мне на ухо: Горыня, возьми меня, не обходи меня стороною.

— Вот сыроежка... подберёзовик! маслёнок! а там боровик, волгонка! — кричал, визгловато подымая голос, Янин, почувствовав себя совершенным ребёнком. — И там красноголовик, и там!.. Горыня, ты видишь?

— Не кричи... Грибы не любят, когда шумят в лесу. Они таинственные дети матери-земли, знающие много больше, чем мы, они самой корневой системой связаны с этими деревьями, уходящими в небеса, к солнцу, к райскому порогу. Грибы — это дети рая...

* * *

Через два дня Алмазовы уехали.

Янин закрыл ворота, по лесенке взошел на сторожевой пост, отпахнул окно, пустил свежего воздуха. Теперь у него было огромное хозяйство, скромная зарплата караульщика и уйма свободного времени. Наконец-то открылась Янину вольная жизнь, о которой он мечтал. Теперь можно было взяться за роман «Жизнь за царя».

2011–2016 гг.



вимо с сократившимся в разы контингентом московских библиотек (вопрос к коллекторам и субсидирующим подписку на литературно-художественные издания организациям России!). Боюсь ошибиться в точном числе абонентов русской библиотеки в Риге, но число это пятизначное.

На выставке в Риге Россия на этот раз была почетным гостем. Организаторы обозначили наше присутствие как важное событие в развитии межкультурного диалога писателей, издателей и художников-иллюстраторов России и Латвии. Программы были представлены на нескольких площадках: поми-

мо выставочного центра на улице Кипсала, нас принимали в Доме Москвы, на Отделении русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, в Библиотеке Н. П. Задорнова, в книжном магазине «Янус». Специальная экспозиция рассказала об Издательской программе Правительства Москвы, а по завершении выставки рижанам в дар было передано великолепное собрание книг по искусству и истории, а также многочисленные издания современных поэтов и прозаиков России.

Участие «Роман-газеты» в Международной книжной выставке в Риге не состоялось бы без дружеской поддержки писателей из Содружества современных литераторов и издателей альманаха «Витражи».

Библиотеке имени Н. П. Задорнова (а исторический писатель Николай Павлович Задорнов печатался в «Роман-газете») мы передали в дар несколько пачек наших журналов, в том числе «Детской Роман-газеты». Рассчитываем, что и в дальнейшем наши выпуски будут поступать — с охотой — любителям русской литературы в Риге.

И последнее. Самый привычный вопрос, который задают нам гости выставок и участники литера-



турных вечеров: «Вы еще живы?» Да. Живы. Уже 90 лет. И рассчитываем радовать Вас, наш читатель, новыми публикациями. Рассчитываем на сотрудничество с писателями России и Зарубежья, профессиональными и только входящими в литературу.

Очень надеемся на поддержку библиотечарей. Только совместными усилиями писателей, издателей, работников книготорговли, а главное, учителей-словесников и библиотечарей мы сохраним читательское содружество Отечества.

Ответственный редактор
«Роман-газеты»
Елена РУСАКОВА

«ШАПКА ПО КРУГУ»



Владимир Личутин писатель известный, его романы и повести изданы тиражом более миллионов экземпляров. Он — лауреат Государственной Премии, премии

им. Льва Толстого «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика», Большой премии им. И. А. Бунина, им. Антона Дельвига (Золотой Дельвиг) «За верность Слову и Отечеству», им. Александра Невского «России верные сыны», им. Василия Белова «Всё впереди», Большой литературной премии СП РСФСР, премии СП России, международной премии Москва-Пенне и др.

Казалось бы, давно пора издать собрание сочинений Владимира Личутина, но государство, под либеральным флагом вступившее на тропу ростовщичества и ссудного процента, вытеснило русскую литературу на задвор-

ки культуры, а русских писателей обрекло на нищенское существование, лишив всяческих прав, тайно мечтая отобрать саму возможность заниматься литературным трудом. И любители творчества Владимира Личутина, утратив надежды на государство, решили сами выпустить «Собрание сочинений в 12 томах» по принципу православного русского мира «Шапка по кругу». В минувшем году в издательстве

«Вече» вышел первый том «Фармазон», куда вошли одноименный роман и повести «Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», опубликованные миллионными тиражами ещё в девяностых годах прошлого века. Подготовлен и скоро увидит свет второй том: исторический роман «Скитальцы» (в двух книгах)

Все поклонники творчества В. Личутина, меценаты и благотворители могут включиться в проект.

Реквизиты счёта:

Получатель: ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.

Счёт получателя: 40817810038186218447,

Московский банк Сбербанка России г. Москва,

ИНН 7707083893, БИК 044525225,

Кс 30101810400000000225, КПБ 38903801645.

Адрес подразделения Банка: г. Москва, ул. Лукинская, дополнительный офис 9038) 01645.

